

Глава 2. КОГОРТА

ЛЮБОМУДРОВ

Ожидая решения об отставке, Михаил Бакунин успел несколько раз навеститься в Первопрестольную. В январе 1836 года он поселился здесь окончательно, избрав первоначально местом жительства флигель в городской усадьбе Левашевых на Новой Басманной улице. Герцен называл владелицу усадьбы Екатерину Гавриловну Левашеву (18007—1839) «святой женщиной» и считал, что для Бакунина знакомство с ней — дар судьбы, повлиявший на всю его дальнейшую жизнь (в чем, однако, можно и усомниться):

«То было одно из тех чистых, самоотверженных, полных возвышенных стремлений и душевной теплоты существ, которые излучают вокруг себя любовь и дружбу, которые согревают и утешают все, что к ним приближается. В гостиных г-жи Левашевой можно было встретить самых выдающихся людей России — Пушкина, Михаила Орлова (не министра полиции, а его брата, заговорщика), наконец, Чаадаева, ее самого задушевного друга, адресовавшего ей свои знаменитые письма о России. Г-жа Левашева разгадала своей прозорливой интуицией, свойственной женщинам, наделенным великим сердцем, непоколебимый характер и необыкновенные способности бывшего артиллериста. Она ввела его в круг своих друзей. Тогда-то он и встретил Станкевича и Белинского и тесно сблизился с ними. <...>».

Соседом Бакунина по флигелю как раз и оказался известный всей Москве философ Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856), бывший на двадцать лет старше Михаила. Вскоре они сошлись накоротке, но близкими так и не стали. Оба бывшие военные, они разительно отличались характером, темпераментом, привычками. Утонченный щеголь и франт, Чаадаев даже в пору абсолютного безденежья (которое постепенно превращалось в постоянную величину) продолжал пачками заказывать в модных магазинах лайковые перчатки. Бакунин же, тоже страдавший от безденежья, напротив, никогда не придавал особого значения своему внешнему виду и одежде.

Как-то в доме Левашевой Михаил спросил Чаадаева, какое впечатление на него произвел Шеллинг, с коим тот встречался лет десять тому назад и имел продолжительный разговор, а теперь состоял в переписке.

«Возвышенная натура! Гений — каких свет не видывал! — отвечивал Петр Яковлевич. — Глаза глубокие, как утренний небосклон, кажется, что в них отражаются отблески божественного огня. Да, я писал ему сравнительно недавно. Ответ пришел почти через год. Там и про вас есть (в глазах Чаадаева появились хитроватые проблески) — про молодое поколение, бедное настоящим и богатое будущим, жадное к просвещению, но имеющее мало средств для удовлетворения своего научного пыла». — «Это уж точно, — уцепился за

последнюю фразу Михаил. — Так бы хотелось поехать в Берлин, послушать лекции по “философии откровения”. О них столько сейчас толков в России, а живьем из наших пока что никто не слышал». — «Зачем же дело стало?» — «Все за тем же самым — за “презренным металлом”. Математические уроки больших доходов не приносят. Страсть к любомудрию — и подавно...»

От Новой Басманной до Красных Ворот рукой подать. Там в тупиковом переулке у церкви Трех Святителей находилась уютная городская усадьба, где приветливо встречала гостей Авдотья Петровна Елагина (1789–1877) — мать (по первому браку) двух пламенных славянофилов — Ивана и Петра Киреевских. Двери елагинского интеллектуального и литературного салона, пожалуй, самого знаменитого в Москве, были открыты для всех — консерваторов и либералов, славянофилов и западников, монархистов и республиканцев. Никто не чувствовал себя лишним или чужаком. Здесь царила атмосфера интеллектуального пиршества, в которую окунался и стар и млад. А. П. Елагина приходилась племянницей Василию Андреевичу Жуковскому, и, уж конечно, родной дядя, наведываясь в Первопрестольную из Северной столицы, где как воспитатель царских детей проживал постоянно, непременно посещал салон любимой племянницы.

Но и кроме Василия Андреевича, — кто только тут не бывал! Пушкин, Лермонтов, Мицкевич, Веневитинов, Одоевский, Вяземский, Баратынский, Кюхельбекер, Языков, Хомяков, Тютчев, Чаадаев, Герцен, Огарев, Полевой, Погодин, Шевырев, Тургенев, братья Аксаковы и их именитый отец — писатель Сергей Тимофеевич, великий актер Михаил Семенович Щепкин, заядлый спорщик и остро слов — вот далеко не полный перечень тогдашней интеллектуальной и культурной элиты России. Особо следует отметить, что Гоголь, не имевший собственной семьи, нашел в доме близ церкви Трех Святителей тепло и заботу. Не со всеми здесь удалось встретиться Михаилу, но многие подивились эрудиции и напористому витийству молодого любомудра.

* * *

Традиция любомудрия в России восходит к московскому кружку с тем же названием, председателем которого был Владимир Федорович Одоевский (1804–1869), а секретарем — Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805–1827). Члены кружка занимались главным образом тем, что углубленно изучали философию Шеллинга и обсуждали свои литературные и философские творения. После восстания декабристов, опасаясь преследования и репрессий, кружок самораспустился, а все его документы были уничтожены. Само слово «любомудрие» является русской калькой греческого понятия «философия», соответственно, любомудры — это философы. Поэтому не будет прегрешением против истины и других русских философов той эпохи именовать любомудрами.

Чаадаев давно уже завершил свои «Философические письма». Они негласно распространялись в списках и хорошо были известны российским интеллектуалам. Теперь первое из них было предложено в журнал «Телескоп» (оно будет опубликовано и прогорит на всю Россию осенью того же 1836 года).

Чаадаевских «Философических писем» Михаил еще не читал, но слышал о них от своих новых друзей-любомудров, собиравшихся по вечерам у Николая Станкевича. С ним Михаил познакомился в Москве в 1835 году у общих знакомых — Бееров, прямухинских соседей Бакуниных. В семье Бееров верховодила мать, экзальтированная вдова с деспотическими замашками, но молодежь, естественно, притягивали ее взрослые дети — двое сыновей и две дочери. С последними Михаил на протяжении ряда лет состоял в переписке. Когда знакомишься с ней, диву даешься, какой интеллектуальный напор со стороны молодого человека пришлось выдержать юным девицам: по письмам, полученным ими от Бакунина, можно изучать целые разделы классической немецкой философии.

Николай Станкевич снимал квартиру на Большой Дмитровке, в частном пансионе, организованном для студентов Московского университета профессором-шеллингианцем Михаилом Григорьевичем Павловым (1793–1840). Но, случалось, любомудры собирались в более просторной квартире Бееров, так как один из братьев Бееров — Алексей — являлся активным членом кружка, а с его сестрой Натальей у Станкевича был вялотекущий роман. Молодые люди проводили вечера, чередуя беседы на философские и другие темы с традиционным московским чаепитием.

Николай Владимирович Станкевич (1813–1840) — фигура знаковая в истории отечественной философской мысли. Его кружок стал флагманом в освоении немецкой философии мысли и обогащении русской интеллектуальной жизни гегелевской диалектикой. Состав кружка со временем менялся. Увлечение философией вовсе не означало, что его члены были единомышленниками. Более того, некоторые из них впоследствии стали непримиримыми идейными противниками. В разные годы членами кружка Станкевича были В. Г. Белинский, А. И. Кошелев (посещавший когда-то кружок Веневитинова — Одоевского, славянофил и меценат, на деньги которого был издан «Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля»), В. П. Боткин (один из представителей западничества), известный историк Т. Н. Грановский, М. Н. Катков (консервативный публицист и философ, редактор газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник», пустивший в оборот понятие «нигилизм» и постоянно полемизировавший с журналом «Современник» и с одним из его руководителей Н. Г. Чернышевским).

Однако, как писал Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848), «Станкевич никогда и ни на кого не накладывал авторитета, а всегда для всех был авторитетом, потому что все добровольно и невольно признавали превосходство его природы над своей». Авторитет Станкевича признавали все — и друзья, и идейные противники. Мнение славянофила Константина Аксакова — тому подтверждение: «Станкевич сам был человек совершенно простой, без претензии, и даже несколько боявшийся претензии, человек необыкновенного и глубокого ума; главный интерес его была чистая мысль. Не бывши собственно диалектиком, он в спорах так строго, логически и ясно говорил, что самые щегольские диалектики, как Надеждин и Бакунин, должны были ему уступать. В существе его не было односторонности; искусство, красота, изящество много для него значили. Он имел сильное значение в своем кругу, но это значение было вполне свободно и законно, и отношение друзей к Станкевичу, невольно признававших его превосходство, было проникнуто свободною любовью, без всякого чувства зависимости. Скажу еще, что Бакунин не доходил при Станкевиче до крайне безжизненных и бездушных выводов мысли, а Белинский еще

воздерживал при нем свои буйные хулы».

Перед обаянием Николая Станкевича, помноженным на убежденность, диалектику и железную логику, не мог устоять никто. Не избежал влияния нового друга и Бакунин. Николай был всего на год старше Михаила. Сохранившаяся, хотя и не полностью, переписка двух молодых философов (в основном это письма Станкевича) свидетельствует, как быстро произошло их сближение. Они писали друг другу, когда Бакунин уезжал в Прямухино. Поначалу тон писем был несколько официальным. 22 апреля 1835 года Николай Станкевич пишет: «Милостивый государь, Михаил Александрович! <...> Письмо Ваше доставило мне большое удовольствие, обрадовало меня. Если Вы, приняв добрые, может быть, бессильные, желания за настоящие достоинства, цените сколько-нибудь мое знакомство, то поймете, как мне дорого Ваше. Кроме очень натурального желания сблизиться с человеком, которого образ мыслей вполне разделяешь, желания быть в своей сфере, слушать и говорить, что хочется — я имею причины считать подобные сближения долгом для себя. Они поддерживают мою деятельность, сохраняют во мне энергию. <...>».

Но уже через полгода тон переписки меняется: «Вечер. Друг Мишель! Часа три тому назад я получил письмо твое. <...> Благодарю тебя, друг мой, и прошу писать почаще. Как ты ни молод, но у тебя часто бывают грустные мысли; отдавай же половину мне — нам обоим будет легче». (15 ноября 1835 года.) Разумеется, главная тема их писем — высокие эмпирии и философские материи. В частности, Станкевич сообщает: «<...> Друг Мишель! Вчера и сегодня я получил от тебя по письму. <...> Я не думаю, что философия окончательно может решить все наши важнейшие вопросы, но она приближает к их решению, она зиждет огромное здание, она показывает человеку цель жизни и путь к этой цели, расширяет ум его. Я хочу знать, до какой степени человек развил свое разумение, потом, узнав это, хочу указать людям их достоинства и назначение, хочу призвать их к добру, хочу все другие науки одушевить единою мыслью. Философия не должна быть исключительным занятием, но основным. Занимайся равно и историею и латинским языком, не отдавайся пустым формам, но верь в могущество ума, одушевленного добрым чувством». (24 ноября 1835 года.)

* * *

Михаил Бакунин зарабатывал на жизнь частными уроками по математике (по восемь в неделю), так что мог посвящать достаточно времени увлечению любомудрием. Бывало, он и Станкевич уединялись где-нибудь и упивались обсуждением философии Иммануила Канта (1724–1804). Весь мир мгновенно превращался для них в конструкцию из трансцендентальных категорий, порожденных гениальным кенигсбергским мыслителем. Знаменитую «Критику чистого разума» Бакунин прочел (причем неоднократно) раньше Станкевича и раньше Николая постиг ее головокружительную глубину. Особенно привлекательным представлялось то, что Кант уравнивал людей в границах общего для всех познавательного процесса. Хотя он и ограничивал человеческий рассудок и разум их собственной несовершенной природой, все же интеллектуальные потенции людей, согласно кантовской критической метафизике, становились целенаправленным, управляемым творческим инструментом для теоретического постижения мира, совершенствования

нравственных законов и человеческого бытия в целом.

Столь драгоценное для Михаила право на свободу Кант признавал только в интеллектуальной сфере, отрицая саму ее возможность в материальном мире (и, следовательно, считал некорректными такие устойчивые понятия, как «свободное пространство» или «свободное падение тел»). Подобный подход не удовлетворял Бакунина. Содержательность и ценность духовной деятельности он видел прежде всего в ее практической направленности и реальной результативности. В противном случае философия превращается в обычную схоластику. Вот почему философский настрой двух русских кантианцев постепенно менялся, что видно из письма Станкевича от 15 декабря 1835 года:

«<...> Исполать тебе, Мишенька! Ты опередил меня! Я давно уж не читаю Канта, потому что, по приезде, намерен поговорить об нем подробно с некоторыми людьми, которых мне здесь рекомендовали. На каждое его положение у меня тысяча возражений в запасе; я думал об нем столько, что голову ломило — но посредством своего мышления не доходил до его результатов и заключил, что я дурно понимаю мысль его или не логически мыслю. В том и другом случае мне нужна чужая помощь. Между тем ты меня подзадорил. Я беру Канта с собою и в деревне прочту что-нибудь из него. <...> Есть потребности, незаглушаемые в душе человека, и нет нелепее предрассудка, как тот, что человек не без чувства не может с успехом заниматься философией. Напротив, до тех пор она и делала мало успеха, пока ею занимались скопцы, с сухим умом, с холодною душою. А Кант нужен как введение к новым системам. <...>».

Под новыми системами подразумевались учения все тех же немецких философов — прежде всего Иоганна Готлиба Фихте (1762–1814) и Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770–1831). В философии Фихте Бакунина привлекала концепция свободы. Лозунг Фихте «Действовать, действовать — вот для чего мы существуем!» как нельзя лучше отвечал представлениям молодого Бакунина. В одном из писем ко всем четверым своим сестрам он перефразирует эту крылатую фразу немецкого мыслителя: «Действие... <...> — вот единственное осуществление жизни». С восторгом цитирует уже в другом письме — к Татьяне и Варваре — слова Фихте из трактата «Наставление к блаженной жизни, или Учение о религии»: «Жизнь — это любовь, а вся форма и сила жизни заключается в любви и вытекает из любви. Открой мне, что ты действительно любишь, чего ты ищешь и к чему стремишься со всей страстью, когда надеешься найти истинное самоуслаждение, — и этим ты откроешь мне свою жизнь. Что ты любишь, тем ты и живешь».

Своей увлеченностью философией Фихте Бакунин сумел заразить не только сестер и своих корреспонденток Наталью и Александрину Беер, но и впечатлительного Виссариона Белинского. По прошествии нескольких лет тот писал Бакунину: «Жизнь идеальная и жизнь действительная всегда двоились в моих понятиях: прямухинская гармония и знакомство с идеями Фихте, благодаря тебе, в первый раз убедили меня, что идеальная-то жизнь есть именно жизнь действительная, положительная, конкретная, а так называемая действительная жизнь есть отрицание, призрак, ничтожество, пустота. И я узнал о существовании этой конкретной жизни для того, чтобы узнать свое бессилие усвоить ее себе; я узнал рай, для того чтобы удостовериться, что только приближение к его воротам —

не наслаждение, но только предощущение его гармонии и его ароматов — есть естественно возможная моя жизнь. Но самые лютые мои минуты были, когда ты читал с нами по-немецки: тут уже не лихорадку, но целый ад ощущал я в себе, особенно, когда ты имел армейскую неделикатность еще подтрунивать надо мною при всех, нимало не догадываясь о состоянии моей души».

Учение Фихте о свободе, связанной прежде всего с преодолением произвола, совпало со многими интуитивными догадками Михаила. Ему не могла не импонировать фраза немецкого мыслителя: «Я научу вас истине, а истина научит вас свободе». Как известно, Фихте считал, что главная, если не единственная, цель государства — воспитание человека в духе свободы. Пройдет не так уж много времени, и Бакунин не только разочаруется в данном положении, но и придет к парадоксальному выводу: для полноценной свободы государство вообще не нужно. Оно нисколько не стимулирует свободное развитие личности, напротив — мешает ему. Чем меньше вмешательства государства, тем больше свободы. Хорошо, если никакого государства не будет вообще. Следовательно, его надо упразднить, и чем скорее, тем лучше...

В 1836 году Михаил Бакунин перевел четыре из пяти лекций немецкого мыслителя, прочитанных им в Иенском университете во время летнего семестра 1794 года и опубликованных под названием «О назначении ученого». Бакунинский перевод лекций Фихте был напечатан в журнале «Телескоп», до закрытия которого за публикацию «Философических писем» Чаадаева и расправы над редактором Н. И. Надеждиным оставалось совсем немного. А в 1838 году в издаваемом при участии Белинского «Московском наблюдателе» появились «Гимназические речи» Гегеля — также в переводе (и с предисловием) Бакунина. Тогда же Бакунин перерисовал с немецкой литографии портрет Гегеля в профессорской мантии, он до сих пор встречается в изданиях произведений Гегеля на русском языке, в частности, открывает его Собрание сочинений в 14 томах (М.; Л., 1930–1959). Таким образом, именно благодаря будущему «разрушителю всех устоев» широкая читающая публика России познакомилась с произведениями двух великих немецких философов.

* * *

Между тем в личной жизни Станкевича произошли заметные подвижки. Наталья Беер устала от безответных вздыханий и решила на акт самопожертвования — толкнула в объятия Николая свою ближайшую подругу, старшую из сестер Бакуниных Любеньку, появившуюся в гостеприимном московском доме Бееров весной 1835 года...

Несмотря на аналитический ум, романтически настроенный Станкевич просто не мог не оценить достоинства этой девушки, которая благодаря брату Мишелю довольно хорошо разбиралась в философии Канта, Фихте и Шеллинга и способна была поддержать разговор на любую тему — о музыке, искусстве, литературе... После нескольких эпизодических встреч в Москве и отъезда Любеньки в Прямухино Николай почувствовал, что симпатия и бессознательное влечение к ней перерастают в его сердце в нечто большее. Чего же говорить тогда о провинциальной барышне, для которой пришло время выходить замуж. К

ней уже однажды сватался кавалерийский офицер, и они были помолвлены, но в конце концов офицер был отвергнут семьей (причем решающую роль в расстройстве намечавшейся свадьбы сыграл Михаил). К тому же и невеста не испытывала к жениху особой симпатии. И вдруг такая партия — Станкевич!

Однако любовь на расстоянии хороша для романов, сочиненных за письменным столом. Разлука молодых людей мало способствовала укреплению их взаимного чувства. Станкевич решил переломить ситуацию и в октябре 1835 года приехал в Прямухино. Обжегшись на предыдущей помолвке, Любенька на людях вела себя сдержанно. Стеснительный Станкевич никак не мог решиться на предложение руки и сердца и вскоре вынужден был уехать ни с чем. Неопределенность затянулась на целый год. Только 23 ноября 1836 года, получив разрешение на брак от родителей, Николай и Любенька были объявлены женихом и невестой. Но со свадьбой решили не торопиться.

Михаил, посвященный во все перипетии этой любви и огорченный возникшими осложнениями, вынужден был снова вмешаться. В последний день 1836 года, накануне Нового года и рокового января 37-го (гибель Пушкина), он писал сестрам: «Напрасно вы осуждаете Станкевича. Его любовь — это настоящая любовь, это — любовь святая, возвышенная! Она ныне заполняет все его существование, она согрела и осветила всю его нравственную и умственную жизнь. Нужно послушать его! В нем горит нечто священное, нечто сверхчеловеческое. Во время одной из наших бесед он сказал мне, что тот, кто любит, гораздо лучше того, кто не любит. И я поверил ему, ибо он произнес эти слова с таким святым и возвышенным убеждением и такою простотою! Эта любовь делает его совершенно счастливым. Он нашел в ней личное выражение своей внутренней жизни вовне. <...>».

Однако не все было столь безоблачно и радужно. Время шло, а помолвленные по-прежнему оставались в разлуке, общаясь друг с другом только посредством писем. Этих писем сохранилось предостаточно, но в них нет и намек на ту страсть, о которой писал сестрам Михаил. Весной 1837 года Станкевич написал невесте, что по настоянию врачей вынужден срочно уехать за границу на лечение. Любеньку мучили плохие предчувствия — оба они были серьезно больны: прогрессирующая чахотка; у невесты она к тому же усугублялась еще и нервным расстройством. Но были у девушки и подозрения, о которых она боялась даже думать, не то что говорить. Да что поделаешь?..

Брак ее родной сестры Варвары, по мужу Дьяковой, по мнению всей семьи Бакуниных, оказался несчастлив (Михаил впоследствии тщетно пытался помочь его расторжению). Варвара была всего на год младше Любеньки — такая же эрудитка. На фоне ничем не блиставшего и к тому же нелюбимого мужа Николай Станкевич представлялся ей настоящим титаном мысли (что, впрочем, вполне соответствовало истинному положению дел). Его обаяние притягивало как магнит. В свою очередь более самостоятельная по сравнению с остальными сестрами, более живая, более практичная и опытная Варвара не могла не привлечь внимания Николая. С ней всем и всегда было интересно. Безусловно, чувство долга для Николая и Варвары было выше всяких симпатий и влечений. О сокровенных же мыслях никто не говорил. Но сердце не обманешь, и Любенька первой почувствовала: что-то не так. А когда, наконец, осознала правду, стала чахнуть на глазах...

Варвара мучилась не меньше старшей сестры. Она мечтала соединиться со Станкевичем за границей, но, не видя выхода из положения, стала подумывать о самоубийстве. Сказался, должно быть, характер отца: в свое время, не найдя взаимности у будущей жены, он тоже намеревался застрелиться. Тупиковая ситуация подробно обсуждалась в переписке Михаила и Николая. В конце концов Станкевич выслал на имя друга две тысячи рублей для передачи Варваре, дабы та смогла незамедлительно выехать к нему. В мае 1838 года Варвара вместе с малолетним сыном и гувернанткой пересекла российско-германскую границу. Лето она провела в Швейцарии, на зиму перебралась в Италию, а затем вновь вернулась в Швейцарию. Между тем дни Любеньки были сочтены. Усилия лучшего специалиста по туберкулезу, привезенного Белинским, не увенчались успехом. 6 августа 1838 года в возрасте двадцати семи лет Любовь Бакунина скончалась.

Безвременная кончина девушки, так и не познавшей счастья взаимной любви, повергла в шок всех, кто ее знал. Получив скорбное известие, Белинский написал Бакунину многостраничное (на целую тетрадку) письмо. В ожидании оказии послать его он возвращался к письму четыре раза — с 13 по 15 августа 1838 года:

«Друг, Мишель, предчувствия не обманывают: они тайный голос души нашей. Когда я уезжал из Прямухина, мне сильно, очень сильно захотелось в последний раз взглянуть на нее. “Скоро ли мы увидимся?” — спросила она меня, и я потерялся при этом вопросе; грудь моя сжалась, а на глазах чуть не показались слезы. Нынешний день я отослал к тебе мое письмо, вместе с письмом Василья [так в оригинале]; после обеда поехал с Катковым к нему. Душа моя перенеслась в Прямухино и глубоко страдала. С Катковым я поехал к Левашевым, от них пришел в половине одиннадцатого; увидел на столе твое письмо. Почему-то я не бросился распечатывать его, хотя давно и жадно ждал от тебя письма. Я раздевался, ходил по комнате, придумывал себе разные дела, которыми надо заняться прежде прочтения письма. Наконец, распечатал, прочел — в глазах у меня потемнело, закапали слезы... Я побежал вверх, к моему доброму князю; для меня было счастьем, что подле меня был человек, к которому я мог побежать. “Умерла!” — вскричал я, бросив ему твое письмо; “письмо из Прямухина! она умерла”, — повторил я. На лице князя изобразилось умиление; он набожно перекрестился и сказал; “Царство небесное!” Друг, я верю твоей вере в бессмертие, верю, что ты теперь находишься в состоянии глубокого созерцания истины. Отчаиваться, мучиться от ее смерти было бы грехом: тихо грустить, молиться — вот что надо делать. На этой земле она была вестницей другого мира, и смерть ее есть не отрицание, но доказательство этой другой жизни. Смерть знакомого человека всегда наводит на меня суеверный ужас, так что я вечером и ночью боюсь быть один.

Да, ее смерть — это откровение таинства жизни и смерти. Зачем не был я свидетелем ее последних минут? Нет, не напрасна была моя последняя поездка в Прямухино: я вижу в этом волю неба, доказательство, что и я имею отца, который печется обо мне. Мне надо было усвоить себе это бледное, кроткое, святое, прекрасное лицо, с выражением страдания, не победившего силы духа, силы любви благодатной, этот голос, которого нельзя лучше назвать, как голосом с того света... Да, благодарность небу! я знал, я видел ее, — я знал великое таинство жизни, не как предчувствие, но как дивное, гармоническое явление. Нет, если несчастье когда-нибудь одолеет меня и я паду под его бременем, я, который некогда видел ее, еще здоровую, прекрасную, гармоническую, полную веры в блаженство жизни, в

осуществление лучших, святейших мечтаний души своей, а потом, бледную, больную, и всё прекрасную, всё гармоническую, — что я тогда буду? Мишель, слова не клеятся, хоть душа и полна; кладу перо. Скоро полночь. Буду ходить по комнате и мечтать о жизни и смерти. Завтра воскресенье, письма послать нельзя. Может быть, завтра и еще что-нибудь напишу тебе...

<...>

Нет, Мишель, не хочу спать, не хочу ходить — хочу беседовать с тобою, с твоим духом, который невидимо присутствует при мне. Я плачу — слезы льются непрерывно, — и они святы, эти слезы. Душа моя расширилась, и я причастился таинству жизни. Не страдаю я, а болею, и не за нее — это было бы грешно, это значило бы оскорблять ее святую тень; нет, мне представляется этот святой старик (отец. — В. Д.), тихо плачущий, кротко несущий тяжкий крест ужасного испытания. О, в эту минуту я стал бы перед ним на колена, как ты пишешь ко мне, я поцеловал бы его руку, обнял бы его колена и пролил бы на них мои слезы. Мне представляется эта бедная мать, которая была чужда для всего остального и не выходила из комнаты своей милой, угасающей надежды, любимейшего дитяти своего сердца. Я не сомневаюсь, что Варвара Александровна любит горячо всех своих детей, но в то же время понимаю возможность этой исключительной, субъективной любви к одной из всех. Любовь есть связь из тысячи явных, открытых нитей и миллиона тайных, невидимых. Надо каким бы то ни было образом лишиться для себя любимого человека, чтобы самому для себя узнать силу своей любви к нему. Половина сердца оторвана с кровью, лучшая мечта, самый благоуханный цвет жизни исчез навсегда. Какая потеря — бедная мать! Передай ей, Мишель, мои слезы, мои рыдания, которые задушают меня... <...>».

Пытаясь хоть как-то помочь Любеньке в последние дни ее жизни, Белинский заручился рекомендательными письмами и помчался на перекладных в Венёв Тульской губернии за врачом Петром Петровичем Ключниковым, братом Ивана Петровича Ключникова, посещавшего кружок Станкевича. Петр Ключников считался одним из лучших специалистов по туберкулезу. Пробыв несколько дней в бакунинском семействе и надеясь, что больная поправится, Белинский возвратился в Москву. Тем сильнее было его потрясение после получения подробного описания похорон Любви Бакуниной.

«Поутру отослал я свое большое письмо на почту, — писал он Михаилу, — а теперь, вечером, принимаюсь за другое к тебе, любезный Мишель. Друг, я ничего не могу делать, как только думать о ней или писать к тебе. Душа рвется к тебе, к вам. Ведь я твой, ваш, родной всем вам? — Да, теперь я узнал это очень ясно. Ваша потеря — моя потеря. Я разорван; не могу ничего делать; все интересы замерли в душе. Письмо Ефремова от мертвой оборотило меня к живым. Я вижу все ваше семейство. Отец тихо плачет, — слезы старца — это что-то рвущее душу и вместе умиляющее ее. Святой старик! Мать смеялась — это победа горести над духом, высшее страдание, какое только может быть. А сестры? — одна несколько дней не принимала пищи, была в каком-то обмороке; другая удивляла своею твердостью. Друг, я понимаю, вполне понимаю, глубоко понимаю то и другое явление. Это одна и та же сила — только в различных проявлениях. Сила страдания происходит от силы любви, и от той же любви происходит и сила терпения. Здесь и слабость, с одной стороны, и сила, с другой, — были одно и то же явление. Страшно подумать, что это может иметь влияние на их

здоровье, и без того слабое и расстроенное. Вот теперь-то, Мишель, употреби все силы, всё свое влияние на них. Не верь уверениям в спокойствии. Для них долго не будет спокойствия. Боже, какой день, какая картина! И мне жаль, что я не был там, мне кажется, что я бы должен был у вас быть эти дни. О, как бы я упился страданием и с какою бы ненасытимую жаждою пил его! <...>».

Смерть Любеньки потрясла и находившихся за границей Николая Станкевича и Варвару Дьякову. Встретились они лишь в апреле 1840 года, в Риме. Михаил, содействовавший их соединению, писал Станкевичу: «Я давно желал вашего свидания с сестрою, и вот наконец мое желание исполнилось. Я знаю, вам обоим необходимо было встретиться, и вам хорошо будет вместе. Скажи ей только, чтоб она взяла все нужные предосторожности... <...>». Последняя фраза касалась отца: Александр Михайлович всячески пытался воспрепятствовать воссоединению Варвары с «разрушителем женских сердец» и даже написал приятелю-дипломату в Италию, чтобы тот принял меры, препятствующие свободному передвижению дочери по Европе.

К тому времени Николай был уже совсем плох. Но рядом с Варварой он почувствовал прилив сил. «Я только спрашиваю себя день и ночь: за что? за что это счастье? — писал он Михаилу. — Она окружает меня самую сильную, самую святою братскою любовью; она распространила вокруг меня сферу блаженства, я дышу свободнее, у меня поднялось и здоровье, и сердце». Увы, ни сухой климат, ни солнце Италии, ни заботы лучших врачей не помогали Станкевичу. По дороге в больницу, куда его сопровождала Варвара с сыном, в ночь с 24 на 25 июня 1840 года Николай Станкевич умер в придорожной гостинице. Сразу после смерти любимого человека безутешная Варвара записала:

«О нет, нет, мой возлюбленный, я не забыла твои слова, мы свиделись, мы узнали друг друга! Мы соединены навеки — разлука коротка, и это новое отечество, которое тебе уже открылось, будет и моим: там бесконечна Любовь, бесконечно могущество Духа!.. Эта вера была твоя! — Она также и моя. Брат, ты узнаёшь меня, голос сестры доходит до тебя в вечность? Я узнаю тебя в твоей новой силе, в твоей красоте... и ты узнаёшь тоже, ты угадываешь ее — твою далекую, оставленную сестру!.. Материя сама по себе — ничто, но лишь через... внутреннее объединение ее с духом мое существо, мое Я получило свою действительность. Лишь при этом непонятном для меня соединении бесконечного с конечным Я становится Я — живым, самостоятельным существом. Когда я говорю Я, — тогда я сознаю себя, я становлюсь известной себе. Через обратное впадение в Общее я должна это сознание самой себя утратить — моя индивидуальность исчезает; Я уже не Я, остается лишь общее, Дух для себя. Таким образом, я ничто! Так вот что такое смерть? Это малоутешительно».

Такова трагическая развязка этой удивительной истории любви.

Смерть Станкевича потрясла не только его ближайших друзей, но и всю передовую Россию. Из груди И. С. Тургенева, находившегося в Германии, вырвался настоящий вопль. Он писал Грановскому: «Нас постигло великое несчастье, Грановский. Едва могу я собраться с силами писать. Мы потеряли человека, которого мы любили, в кого мы верили, кто был нашей гордостью и надеждой... 24-го июня, в Нови — скончался Станкевич. Я бы мог, я бы должен

здесь кончить письмо... Что остается мне сказать — к чему Вам теперь мои слова? Не для Вас, более для меня продолжаю я письмо: я сблизился с ним в Риме: я его видел каждый день — и начал ценить его светлый ум, теплое сердце, всю прелесть его души... тень близкой смерти уже тогда лежала на нем... Мы часто говорили о смерти: он признавал в ней границу мысли и, мне казалось, тайно содрогался. Смерть имеет глубокое значение, если она выступает — как последнее — из сердца полной, развившейся жизни: старцу — она примирение; но нам, но ему — веление судьбы. Ему ли умереть? Он так глубоко, так искренно признавал и любил святость жизни, несмотря на свою болезнь он наслаждался блаженством мыслить, действовать, любить: он готовился посвятить себя труду, необходимому для России... Холодная рука смерти пала на его голову, и целый мир погиб».

Философия Гегеля стала в России не менее популярной, чем в Германии. Афанасий Фет (Шеншин), учившийся в то время в Московском университете вместе с другим будущим поэтом — Аполлоном Григорьевым — и квартировавший в его доме на Полянке, в своих воспоминаниях рассказывает, что имя Гегеля было на устах у всех студентов и профессоров, и даже у простолюдинов, коим образованные господа постоянными разговорами о своем кумире буквально заморочили головы. Однажды слуга, сопровождавший друзей в театр, так задумался, что после спектакля, подзывая экипаж своего хозяина, вместо «Коляску Григорьева!» выкрикнул: «Коляску Гегеля!»

Один из современников Фета не без ехидства свидетельствовал: увлечение это доходило до того, что у русских гегельянцев отношение к жизни, к действительности сделалось совершенно школьное и книжное. Скажем, человек, который шел гулять в Сокольники, не просто гулял, а отдавался пантеистическому чувству единства с космосом, и если ему попадался по дороге солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народности в ее непосредственном и случайном проявлении. Слеза, навертывавшаяся на глаза, также относилась к своей категории — к трагическому в сердце.

Сам Бакунин на склоне жизни с ностальгической германофильской ноткой вспоминал состояние своей свободолюбивой души в молодые годы: «<...> В течение 30 лет рабства, терпеливо переносившегося нами под железным скипетром императора Николая, наука, философия, поэзия и музыка Германии были нашим прибежищем и нашим единственным утешением. Мы замкнулись в этом волшебном мире прекраснейших грез человеческих и жили больше в нем, нежели в окружающей нас ужасной действительности, выше которой мы старались себя поставить, согласно предписаниям наших великих немецких учителей. Я, пишущий эти строки, еще помню то время, когда, фанатик-гегельянец, — я думал, что ношу “Абсолют” в кармане, и с пренебрежением взирал на весь мир с высоты этой мнимо-высшей истины».

Для всякого проницательного ума в ту эпоху диалектика Гегеля становилась ключом, открывавшим самые сокровенные тайны бытия и духа, а в опытных руках превратилась в неотразимое оружие, способное разрушить любую твердыню. Недаром Александр Герцен назвал диалектику «алгеброй революции». Откроем «Былое и думы», послушаем самого автора. Его рассказ о гегельянском периоде развития отечественной мысли давно стал хрестоматийным и вошел (полностью или в изложении) во многие учебные пособия:

«Станкевич... был первый последователь Гегеля в кругу московской молодежи. Он изучил немецкую философию глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, он увлек большой круг друзей в свое любимое занятие. Круг этот чрезвычайно замечателен, из него вышла целая фаланга ученых, литераторов и профессоров, в числе которых были Белинский, Бакунин, Грановский. <...> Болезненный, тихий по характеру, поэт и мечтатель, Станкевич, естественно, должен был больше любить созерцание и отвлеченное мышление, чем вопросы жизненные и чисто практические; его артистический идеализм ему шел, это был “победный венок”, выступавший на его бледном, предсмертном челе юноши. Другие были слишком здоровы и слишком мало поэты, чтоб надолго остаться в спекулятивном мышлении без перехода в жизнь. <...>

Толковали же они об них беспрестанно, нет параграфа во всех трех частях “Логики”, в двух “Эстетики”, “Энциклопедии” и пр., который бы не был взят отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении “перехватывающего духа”, принимали за обиды мнения об “абсолютной личности и о ее по себе бытии”. Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней.

Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: “Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте”. <...> Гегель во время своего профессората в Берлине, долею от старости, а вдвое от довольства местом и почетом, намеренно взвинтил свою философию над земным уровнем и держался в среде, где все современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, как здания и села с воздушного шара; он не любил зацепляться за эти проклятые практические вопросы, с которыми трудно ладить и на которые надобно было отвечать положительно. Насколько этот насильственный и неоткровенный дуализм был вопиющ в науке, которая отправляется от снятия дуализма, легко понятно. Настоящий Гегель был тот скромный профессор в Йене, друг Гельдерлина, который спас под полой свою “Феноменологию”, когда Наполеон входил в город».

Среди русских гегельянцев Бакунин, Станкевич и Герцен были звездами первой величины и безусловными авторитетами. Однако Герцен пальму первенства отдавал Михаилу. «Из молодежи гегельской [так!], конечно, № 1 Бакунин...» — подчеркивал он в одном из писем 1840-х годов. Все трое придерживались «западнической» ориентации. Но Герцен возглавлял революционное крыло, Станкевич — чисто просветительское, а Бакунина притягивало то и другое.

Писатель Иван Иванович Панаев (1812–1862) в своих воспоминаниях о Белинском нарисовал достаточно правдивый портрет Бакунина: «Бакунин был в своем кружке пропагандистом немецкой философии вообще и Гегеля в особенности. Ум в высшей степени спекулятивный, способный проникать во все философские тонкости и отвлечения, Бакунин владел при этом удивительною памятью и диалектическим даром. Перед силой его диалектики все склонялись невольно. Вооруженный ею, он самовластно действовал на свой кружок и безусловно царил над ним. Его атлетическая фигура, большая львиная голова с густыми и

вьющимися волосами, взгляд смелый, пылкий и в то же время беспокойный — все это поражало в нем с первого раза. Бакунин с каким-то ожесточением бросался на каждое новое лицо и сейчас же посвящал его в философские тайны. В этом было много комического, потому что он не разбирал, приготовлено или нет это лицо к восприятию проповедуемых им отвлеченностей.

Вскоре после моего знакомства с ним он пришел ко мне и целое утро толковал мне о примирении и о прекраснодушии на совершенно непонятном для меня философском языке. Утро было жаркое, пот лился с меня градом, я усиливался понять хоть что-нибудь, но, к моему отчаянию, не понимал ничего, стыдись, впрочем, признаться в этом. Белинский, уже освоившийся с философской терминологией, схватывал на лету намеки на мысли Гегеля, бросаемые Бакуниным, и развивал их впоследствии плодотворною силою своего ума в своих критических статьях.

Все принадлежавшие к кружку Белинского были в то время свежи, молоды, полны энергии, любознательности, все с жаждою наслаждения погружались или пробовали погружаться в философские отвлеченности: один разбирал не без труда Гегелеву “Логикку”, другой читал не без усилия его “Эстетику”, третий изучал его “Феноменологию духа”, — все сходились почти ежедневно и сообщали друг другу свои открытия, толковали, спорили до усталости и расходились далеко за полночь. Над этим кружком невидимо парила тень Станкевича... <...>».

А вот какую характеристику Бакунину дает Герцен: «Бакунин обладал великолепной способностью развивать самые абстрактные понятия с ясностью, делавшей их доступными каждому, причем они нисколько не теряли в своей идеалистической глубине. Именно эта роль предназначена, по моему мнению, славянскому гению в отношении философии; мы питаем глубокое сочувствие к немецкой умозрительности, но еще более влечет нас к себе французская ясность. Бакунин мог говорить целыми часами, спорить без усталости с вечера до утра, не теряя ни диалектической нити разговора, ни страстной силы убеждения. И он всегда готов был разъяснять, объяснять, повторять, без малейшего догматизма. Этот человек рожден был миссионером, пропагандистом, священнослужителем. Независимость, автономия разума — вот что было тогда его знаменем, и для освобождения мысли он вел войну с религией, войну со всеми авторитетами. А так как в нем пыл пропаганды сочетался с огромным личным мужеством, то можно было уже тогда предвидеть, что в такую эпоху, как наша, он станет революционером, пылким, страстным, героическим. <...> Он был молод, красив, он любил создавать себе прозелитов среди женщин, многие были в восторге от него, и однако ни одна женщина не сыграла большой роли в жизни этого революционного аскета; его любовь, его страсть были устремлены к иному».

С Герценом Бакунин познакомился в 1839 году. Опальный диссидент жил тогда в ссылке во Владимире, но изредка ему позволялось наведываться в Москву. По признанию самого Герцена, именно Бакунин побудил его к изучению гегелевской диалектики. Несмотря на частые разногласия, их дружба продолжалась всю жизнь.

Бакунин одинаково уверенно чувствовал себя и среди единомышленников, и в разношерстных московских салонах, где в философских дискуссиях схлестывались

западники и славянофилы. Никто лучше Герцена не описал эти теоретические баталии:

«Споры возобновлялись на всех литературных и нелитературных вечерах, на которых мы встречались, — а это было раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу у Свербеева, в воскресенье у А. П. Елагиной. Сверх участников в спорах, сверх людей, имевших мнения, на эти вечера приезжали охотники, даже охотницы, и сидели до двух часов ночи, чтоб посмотреть, кто из матадоров кого отделаёт и как отделаёт его самого; приезжали в том роде, как встарь ездили на кулачные бои и в амфитеатр, что за Рогожской заставой.

Ильей Муромцем, разившим всех со стороны православия и славянизма, был Алексей Степанович Хомяков, “Горгиас, совопросник мира сего”, по выражению полуповрежденного Морошкина. Ум сильный, подвижный, богатый средствами и неразборчивый на них, богатый памятью и быстрым соображением, он горячо и неумолимо проспорил всю свою жизнь. Боец без усталости и отдыха, он бил и колот, нападал и преследовал, осыпал остротами и цитатами, пугал и заводил в лес, откуда без молитвы выйти нельзя, — словом, кого за убеждение — убеждение прочь, кого за логику — логика прочь.

Хомяков был действительно опасный противник; закалившийся старый бретер диалектики, он пользовался малейшим рассеянием, малейшей уступкой. Необыкновенно даровитый человек, обладавший страшной эрудицией, он, как средневековые рыцари, караулившие Богородицу, спал вооруженный. Во всякое время дня и ночи он был готов на запутаннейший спор и употреблял для торжества своего славянского воззрения все на свете — от казуистики византийских богословов до тонкостей изворотливого легиста. Возражения его, часто мнимые, всегда ослепляли и сбивали с толку».

Вот с этим-то бесстрашным рыцарем философии и схлестывался в диалектическом споре на квартире Чаадаева Михаил Бакунин. Жаркие дискуссии продолжались до утра. Герцен называл их «всенощными бдениями». По словам Хомякова, «Бакунин мог... спорить без усталости... не теряя ни диалектической силы разговора, ни страстной силы убеждения». Стоит ли говорить, что во время этих споров в уютных московских гостиных рождалась и мужала русская философия.

Несмотря на диаметрально противоположные позиции, славянофилы и западники испытывали друг к другу симпатию и уважение, более того — бессознательное влечение. Герцен сравнивал своих друзей и оппонентов с двуликим Янусом, имея в виду древнеримское божество с двумя лицами, смотрящими в противоположные стороны — вперед и назад: «Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но не одинакая (так в оригинале! — В. Д.). У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы — за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно».

Позже Николай Александрович Бердяев (1874–1948) выразится еще более определенно: «Россия — самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире. И русский народ — самый аполитический народ, никогда не умевший устраивать свою землю. Все подлинно русские, национальные наши писатели, мыслители, публицисты — все были безгосударственниками, своеобразными анархистами. Анархизм — явление русского духа, он по-разному был присущ и нашим крайним левым, и нашим крайним правым. Славянофилы и Достоевский — такие же в сущности анархисты, как и Михаил Бакунин или Кропоткин. Эта анархическая русская природа нашла себе типическое выражение в религиозном анархизме Льва Толстого. Русская интеллигенция, хотя и зараженная поверхностными позитивистическими идеями, была чисто русской в своей безгосударственности. В лучшей, героической своей части она стремилась к абсолютной свободе и правде, не востановившей ни в какую государственность».

В рецензии на 7-й том «Истории России» С. М. Соловьева Константин Аксаков писал: «Как бы широко и, по-видимому, либерально ни развивалось государство, хотя бы достигло самых крайних демократических форм, все-таки оно, государство, есть начало неволи, внешнего принуждения. <...> Передовые умы Запада начинают сознавать, что ложь лежит не в той или другой форме государства, а в самом государстве как идее, как принципе; что надобно говорить не о том, какая форма хуже и какая лучше, какая форма истинна, какая ложна, а о том, что государство как государство есть ложь». Подобные высказывания славянофилов вовсе не были случайными. В одном из поздних писем к Герцену Бакунин отмечал, что Константин Аксаков еще в 1830-е годы был «врагом петербургского государства и вообще государственности, и в этом отношении он даже опередил меня».

С Хомяковым, Самариним, Кошелевым, братьями Аксаковыми и Киреевскими Бакунина сближало не только неприятие деспотической и бюрократической государственной системы, но и патриотизм (как это отметил Герцен), и любовь к славянству. В своем радикальном панславизме Бакунин очень скоро превзойдет всех славянофилов вместе взятых. А все тот же Бердяев отмечал, что и бакунинский анархизм в целом окрашен в яркие славянофильские цвета: Бакунин считал, что мировой пожар европейской революции скорее всего начнется в России, а затем перекинется и на весь остальной мир.

* * *

На взаимоотношениях Бакунина и Белинского, начавшихся горячей дружбой и кончившихся размолвкой, следует остановиться особо. Они познакомились на одном из заседаний кружка Станкевича. Павел Васильевич Анненков (1813–1887) в своих мемуарах «Замечательное десятилетие» подробно рассказывает о философской эволюции и мучительных исканиях молодого Бакунина, неуклонно приближавшегося к своему революционному преобразению (он даже называет Бакунина «отцом русского идеализма», что, впрочем, мало соответствует действительности и может быть принято с большими оговорками, и то — применительно только к начальному этапу становления будущего «отца анархии», приверженца воинствующего атеизма и материализма):

«<...> Б[акунин] обнаружил в высшей степени диалектическую способность, которая так необходима для сообщения жизненного вида отвлеченным логическим формулам и для получения из них выводов, приложимых к жизни. К нему обращались за разрешением всякого темного или трудного места в системе учителя, и Белинский гораздо позднее, то есть спустя уже 10 лет (в 1846 году), еще говорил мне, что не встречал человека, более Б[акунина] умевшего отстранять, так или иначе, всякое сомнение в непреложности и благолепии всех положений системы. Действительно, никто из приходящих к Б[акунину] не оставался без удовлетворения, иногда согласного с основными темами учения, а иногда просто фиктивного, выдуманного и импровизированного самим комментатором, так как диалектическая его способность, как это часто бывает с диалектиками вообще, не стеснялась в выборе средств для достижения своих целей.

Как бы то ни было, но только упоение гегелевскою философией с 1836 года было безмерное у молодого кружка, собравшегося в Москве во имя великого германского учителя, который путем логического шествия от одних антиномий к другим разрешал всей тайны мироздания, происхождение и историю всех явлений в жизни, вместе со всеми феноменами человеческого духа и сознания. Человек, не знакомый с Гегелем, считался кружком почти что несуществующим человеком: отсюда и отчаянные усилия многих, бедных умственными средствами, попасть в люди ценою убийственной головоломной работы, лишавшей их последних признаков естественного, простого, непосредственного чувства и понимания предметов. Кружок постоянно сопровождался такими людьми. Белинский очень скоро сделался в нем корифеем, выслушав основные положения логики и эстетики Гегеля, преимущественно в изложении и комментариях Б[акунина]. Надо заметить, что последний возвещал их как всемирное откровение, сделанное человечеством на днях, как обязательный закон для мысли людской, которую они исчерпывают вполне без остатка и без возможности какой-либо поправки, дополнения или изменения. Следовало или покориться им безусловно, или стать к ним спиной, отказываясь от света и разума. Белинский на первых порах и покорился им безусловно, стараясь достичь идеала бесстрастного существования в “духе”, подавляя в себе все волнения и стремления своей нравственности и органической природы, беспрестанно падая и приходя в отчаяние от невозможности устроить себе вполне просветленную жизнь по указаниям учителя.

Дело, конечно, не обходилось тут без сильных протестов со стороны неопита. Дар проникать в сущность философских тезисов, даже по одному намеку на них, и потом открывать в них такие стороны, какие не приходили на ум и специалистам дела, — этот дар поражал в Белинском многих из его философствующих друзей. Он не утерял его и тогда, когда, по-видимому, предался душой и телом одному известному толкованию гегелевской системы. Способность его становиться по временам к ней совершенно оригинальным и независимым способом и заставила сказать Г[ерцена], что во всю свою жизнь ему случилось встретить только двух лиц, хорошо понимавших Гегелево учение, и оба эти лица не знали ни слова по-немецки. Одним из них был француз — Прудон, а другим русский — Белинский. Возражения последнего на некоторые из догматов системы иногда удивительно освещали ее слабые, схоластические стороны, но уже не могли потрясти веры в нее и высвободить его самого из-под ее гнета. Известно восклицание Белинского, весьма характеристическое, которым он заявлял свое мнение, что для человека весьма позорно служить только орудием “всемирной идеи”, достигающей через него необходимого для нее самоопределения.

Восклицание это можно перевести так: “Я не хочу служить только ареной для прогулок ‘абсолютной идеи’ по мне и по вселенной”. Опровержения такого рода, как бы мимолетны они ни были, конечно не могли не раздражать его друга, Б[акунина], не лишённого, как все проповедники, деспотической черты в характере. Впоследствии образовались сильные размолвки, именно вследствие протестов Белинского, на которые учитель отвечал, с своей стороны, весьма энергично. Уже в сороковых годах, говоря мне об искусстве, с каким Б[акунин] умел бросать тень на лица, которых заподозревал в бунте против себя, Белинский прибавил: “Он и до меня добирался. ‘Взгляните на этого Кассия, — твердил он моим приятелям, — никто не слышал от него никогда никакой песни, он не запомнил ни одного мотива, не проронил сроду и случайно никакой ноты. В нем нет внутренней музыки, гармонических сочетаний мысли и души, потребности выразить мягкую, женственную часть человеческой природы’. Вот какими закоулками добирался он до моей души, чтобы тихомолком украсть ее и унести под своей полой”. Оба приятеля, как известно, вплоть до 1840 года беспрестанно ссорились и так же беспрестанно мирились друг с другом, но в лето 1836 года они еще жили безоблачной, задушевной жизнью.

Связь между друзьями должна была еще усилиться, когда в течение 1836 года Белинский, введенный в семейство Бакуниных], нашел там, как говорили его знакомые, необычайный привет даже со стороны женского молодого его населения, к чему он никогда не относился равнодушно, убежденный, что ни одно женское существо не может питать участия к его мало эффективной наружности и неловким приемам. Белинский ездил в Тверь и жил некоторое время в поместье самих Бакуниных]. Беседы, которые он вел под кровом их дома, под обаянием дружбы с одним из его членов, при внимании и участии молодого и развитого женского его персонала, конечно, должны были крепче запасть в его ум, чем при какой-либо другой обстановке. Результаты оказались скоро. Когда Белинский опять возвратился к журнальной деятельности и принял на себя, в 1838 году, издание “Московского наблюдателя”, совершенно загубленного прежней редакцией, — на страницах журнала уже излагались не Шеллинговы воззрения в том лирическо-торжественном тоне, какой они всегда принимали у Белинского, а строгие гегелевские схемы в надлежащей суровости языка и выражения и часто с некоторою священной темнотою, хотя и старые воззрения и новые схемы имели много родственного между собою. К тому же одним из сотрудников журнала, от которого ждали переворота в области литературы и мышления, состоял теперь М. Б[акунин]. Он именно и открыл новый фазис философизма на русской почве, провозгласив учение о святости всего действительно существующего.

Одно, хотя и очень короткое время Б[акунин], можно сказать, господствовал над кружком философствующих. Он сообщил ему свое настроение, которое иначе и определить нельзя, как назвав его результатом сластолюбивых упражнений в философии. Все дело ограничивалось еще для Бакунина] в то время умственным наслаждением, а так как самая многосторонность, быстрота и гибкость этого ума требовали уже постоянно нового питания и возбуждения, то обширное, безбрежное море гегелевской философии пришлось тут как нельзя более кстати. На нем и разыгрались все силы и способности Б[акунина], страсть к витийству, врожденная изворотливость мысли, ищущей и находящей беспрестанно случаи к торжествам и победам, и наконец пышная, всегда как-то праздничная по своей форме, шумная, хотя и несколько холодная, малообразная и искусственная речь. Однако же эта праздничная речь и составляла именно силу Б[акунина], подчинявшую ему сверстников:

свет и блеск ее увлекали и тех, которые были равнодушны к самим идеям, ею возвещаемым. Б[акунина] слушали с упоением не только тогда, когда он излагал сущность философских тезисов, но и тогда, когда спокойно и степенно поучал о необходимости для человека ошибок, падений, глубоких несчастий и сильных страданий как неизбежных условий истинно-человеческого существования».

Сблизившись с Бакуниным, Белинский переселился к нему на квартиру и под его руководством с упорством, на которое был способен только человек, получивший прозвище «неистовый», стал осваивать премудрость немецкой классической философии, добродушно величая Гегеля Георгием Федоровичем. Он на лету схватывал труднейший диалектический материал (в нетривиальном изложении друга), а во многих случаях превзошел своего учителя в понимании и интерпретации наиболее сложных вопросов.

Отношения Бакунина и Белинского в то время были настолько доверительными, что они делились сокровенными подробностями личной жизни. Переписка между ними продолжалась почти четыре года. Писем Белинского к Бакунину сохранилось около двух десятков, некоторые из них столь объемны, что занимают целые тетрадки и тянут на небольшие брошюры. Писем Бакунина к Белинскому, к сожалению, не сохранилось (за исключением приписок в письмах сестер). Объемом они ничем не уступали посланиям Белинского и зачастую писались в течение нескольких дней. О их содержании нетрудно догадаться по ответным посланиям. Одно из писем Белинского носит настолько откровенный характер, что в Полном собрании сочинений опубликовано со значительными купюрами; полностью прочитать его можно лишь на «научно-эротических» сайтах в Интернете (например, фрейдистского направления). Белинский не был ни девственником, ни аскетом. Он не брезговал посещением домов терпимости и, помимо контактов с женщинами легкого поведения, имел бурные романы с девицами, так сказать, свободной ориентации и не слишком строгих правил (гризетками, как тогда говорили, — одна такая некоторое время проживала у него на Остоженке).

Однако в обществе аристократических особ женского пола он терялся, лишался дара речи и становился сам не свой, считая себя некрасивым и недостойным внимания высококонрастных барышень. Белинский мучился и паниковал. Своими тяжелыми думами он делился с Бакуниным: «Мишель, меня не любила ни одна никакая женщина, ни высокая, ни пошлая — ни от одной и ни от какой не видел я себе ни малейшего предпочтения. Мне кажется, что на моем лице лежит печать отвержения и что за него меня не может полюбить никакая женщина. Тяжело так думать, а делать нечего — приходится так думать...»

Бакунин не был бы Бакуниным, если бы в подобной ситуации не задался благой целью — познакомить друга со своими сестрами. Белинский пришел в полнейший восторг: еще бы, целый букет совершеннейших, почти что неземных существ, о которых он столько слышал от Михаила. Виссарион буквально рвался в Прямухино. Сестры Бакунины никого не могли оставить равнодушным. Вот что писал о них Николай Станкевич: «Бесконечно любишься этими девушками, как прекрасными созданиями Божьими, смотришь, слушаешь, хочешь схватить и навсегда при себе удержать эти ангельские лица, чтобы глядеть на них, когда тяжело на душе. <...> Еще хочешь... не другого какого-нибудь чувства... хочешь уважения от них, чтобы они не смешивали тебя с толпою ничтожных людей... <...>».

Осенью 1836 года Михаил и Виссарион отправились в бакунинское имение. Белинский сразу же вписался в гостеприимное дворянское семейство, хотя поначалу чуть не испортил себе репутацию, рассорившись во время торжественного обеда с Александром Михайловичем по поводу политической роли французских якобинцев: их революционную деятельность во главе с Робеспьером Белинский неосторожно позволил себе оценить весьма высоко. Размолвка оказалась настолько серьезной, что Александр Михайлович, знавший о Французской революции не понаслышке, решил оградить своих младших сыновей от общения с Белинским. Одному Богу известно, как это вообще возможно реализовать на практике в условиях барского имения, где все постоянно сталкивались и общались друг с другом за столом, в гостиной, в саду и т. д. Тем не менее сестра Татьяна сочла своим долгом предупредить братьев-гимназистов; они проживали с гувернерами в Твери и должны были на рождественские каникулы приехать в Прямухино:

«Особенно папенька сердится на Белинского, который никогда не умеет себя сдерживать. Два или три раза он забывался и говорил вещи чересчур сильные, которые дали папеньке совершенно ложный взгляд на его характер. Я уверена, что папенька понял бы его, если бы он объяснился, если бы он высказывал свои чувства и свои взгляды с большим спокойствием и более ясно, чего он не мог достичь в минуту страстного возбуждения. Теперь поздно: раз предубежденный против кого-нибудь, папенька не поступает уже своим мнением, как бы несправедливо оно ни было. <...> Папенька безусловно не желает, чтобы вы были в обществе этого молодого человека, потому что он опасается, чтобы он [Белинский] не взвинтил ваше воображение. Он думает, что и так он [Белинский] совершенно вскружил головы, что он отдал нас от него и от маменьки. Мы пробовали его [отца] в этом разуверить, но этого нелегко достигнуть».

С первого же взгляда Виссариону понравилась младшая из сестер Бакуниных — Александра (в семье ее звали Александриной, а еще — Кассандрой). Она сама первой и без стеснения подошла к знаменитому критику, о котором столько слышала от Мишеля, и протянула ему руку. Потом были долгие прогулки вдвоем по парку, душевные беседы, литературные чтения. Белинский только что открыл для России поэзию Алексея Кольцова и привез в Прямухино еще пахнущий типографской краской номер журнала, где были опубликованы его стихи.

Первое посещение Прямухина оставило в душе Белинского неизгладимый след. Год спустя он писал Михаилу из Пятигорска, куда поехал лечиться: «Кстати о Прямухине. Ты говоришь, что однажды тебе удалось пробудить меня от моего постыдного усыпления и указать мне на новый для меня мир идеи; правда, я этого никогда не забуду — ты много, много сделал для меня. Но не новыми утешительными идеями, а тем, что вызвал меня в Прямухино — воскресил ты меня. Душа моя смягчилась, ее ожесточение миновало, и она сделалась способною к восприятию благих впечатлений, благих истин. Прямухинская гармония не помогала тебе в моем пробуждении, но была его главною причиною. Я ощутил себя в новой сфере, увидел себя в новом мире; окрест меня всё дышало гармонией и блаженством, и эта гармония и блаженство частью проникли и в мою душу. Я увидел осуществление моих понятий о женщине; опыт утвердил мою веру. Но, друг мой, несмотря на все это, я уехал из Прямухина далеко не тем, чем почитал тогда себя: я был только взволнован, но еще не перерожден; благодать Божия стала только доступна мне, но еще не сделалась полным

моим достоянием. И потому мое пребывание в Прямухине, не будучи совершенно бесплодным, все-таки не принесло тех плодов, которые я думал, что оно уже принесло. И этому опять та же причина: расстройство внешней жизни. Я хотел в Прямухине успокоиться, забиться — и до некоторой степени успел в этом; но грозный призрак внешней жизни отравлял мои лучшие минуты. Я не хотел думать о будущем; отъезд мой представлялся мне в каком-то тумане, как будто бы в Прямухине я должен был провести всю жизнь мою. <...>».

Разумеется, Белинского не могли не поразить образованность и эрудиция сестер Бакуниных. Однако, как ни странно, именно это отрицательно повлияло на развитие его личных отношений с Александриной. От женщины он ждал не высокоумных рассуждений на разные темы, а нечто иного — связанного прежде всего со сферой чувств и страстей. «Эта девушка, глубокая по натуре, светлое, чистое, полное грации создание, но ее натура искажена до последней возможности, без всякой надежды на исправление, — написал Белинский об Александрине. — Она давно отвыкла от жизни сердцем, и сердце у нее — покорный слуга воображения. Воображение живет в голове, следственно, голова у нее повелевает сердцем. <...>».

В письме к Михаилу (Виссарион жутко ревновал, когда тот по-братски обнимал Александрину за талию) он упрекнул уже всех четырех его сестер в том, что они якобы «оставили гармоническую сферу женщины, кинулись в чуждую им область мысли и сделали вследствие этого гордыми, холодными, человеконенавистными». Вот так, не больше, не меньше — «человеконенавистными». Вряд ли был прав «неистовый Виссарион». Ответ и справедливую отповедь он получил не от друга, а от Александрины (ей Мишель необдуманно показал злополучное письмо):

«Виссарион Григорьевич! Слезы невольно полились из глаз моих, когда я читала письмо Ваше; Вы мало знаете или, лучше, совсем не знаете меня. Поверьте, не презрение, не сожаление питаю я к Вам, но мое чувство, если и не то, которое бы Вам могла дать другая женщина, — истинно, свято. Всегда желала я сблизиться, говорить откровеннее с Вами, — мне казалось, что Вы не поймете горячего, живого моего участия, что Вы примите его за насмешку, за жалость, и я останавливала себя, даже осуждала, не понимала в себе эту потребность сблизиться с человеком, которого надежды, желания я не могу исполнить. Часто говорила себе, что Вы не меня любите, но особенное прекрасное существо; я далека от него, под моим именем Вы мечтаете о другой, и я молю Бога, чтобы Вы ее встретили в этом мире, чтобы она дала Вам то, что я не могла дать, чтобы искупила страдания Ваши любовью своею. И Вы простите, забудьте тогда невольные мои оскорбления против Вас.

Нет, я не равнодушно смотрела на страдания Ваши, сердце обливалось кровью, когда переносилась в положение Ваше — бледное, страдальческое лицо Ваше носилось предо мною, и я горько, горько плакала и просила Бога помочь мне, внушить, что я должна делать. Мне хотелось бы, чтобы Вы лучше узнали, чтобы Вы проще, как сестру, любили меня, видели бы и дурное, и хорошее во мне. Знаете, тяжело, грустно думать, что мы не то, что другие создают себе из нас, и что очарование пройдет, когда узнают истину.

Осуждение и нападки Ваши насчет мысли и высокого мнения о себе несправедливы. Но, обвиняя, Вы лучше узнаете нас, и все ложное, призрачное останется в стороне. Душно,

тяжело стало на сердце, когда я прочла границы, определения, в которые Вы заключаете женщину. Разве мы не свободные существа, разве мы не достойны к соединению, слитию с вечным духом...

Вы меня видели это лето в болезненном состоянии, я вся предана была темному, непросветленному чувству, хотела убежать от себя, от других, и страшно было оставаться одной... Я не была в состоянии исполнить внешние обязанности в доме, в семействе, которые так необходимы для женщины, не могла дать счастья никому...»

Где же здесь бездушная рациональность? Полная противоположность предположениям Белинского! И вновь буря страстей, промчавшись над Прямухином, оставило бакунинскую усадьбу. Но спокойствие оказалось недолгим. Приятель Бакунина и Белинского, член кружка Станкевича — «милейший и любезнейший», как все его называли, Василий Петрович Боткин (1811-1869) влюбился в Александрину что называется с первого взгляда в один из ее приездов с отцом и матерью в Москву. На его же глазах зарождался и протекал роман между Александриной и Виссарионом. Глубоко страдая в душе и никому не говоря об этом, Боткин терпеливо дожидался развязки. А когда она наступила, простодушно обратился к другу: «Мишель мне сказывал, что ты любишь его сестру, но что, по несчастию, она тебя не любит...» Слова эти, само письмо и его тон просто взорвали Белинского и, как он выразился, на долгое время отравили жизнь. Даже спустя год он никак не мог прийти в себя и изливал свою душу Бакунину:

«Знаешь ли ты, что он, мошенник такой, обоих нас надул. Он умел понимать и ценить письма Татьяны Александровны, как выражение души глубокой, энергической и поэтической, но любил письма Александры Александровны за эту неопределенность, за этот аромат женственности. Она являлась ему во сне прежде, нежели он ее увидел, и когда он поверил видению с подлинником, то нашел сходство во взгляде. Она поразила его с первого взгляда, и с первого свидания он уже положительно сознал в себе чувство, в котором ни одной минуты не сомневался. <...> Да, я не могу и не умею иначе любить, как горестно и трудно, и за несколько минут блаженства я получил от моего чувства целые месяцы страданий, горя, апатии. Я завидую ему. <...> Не бойся за меня — я не паду. Мне только не надо видеть, не надо встречаться. <...> Нет, я бы только миловал, счастливил и все во имя ее. Нет, только страсть губит и искажает человека, но чувство во всяком случае возвышает его. Сознаю в себе силу жить и находить прелесть в жизни».

Между тем Белинский не прерывал общения с Боткиным и в письмах своих к нему по-прежнему оставался искренним и честным: «Я узнал, что и я люблю и ненавижу вместе. Да, поверхность озера души моей тиха и светла, а на дне черти. Все это высказывается больше непосредственно — через физиономию и размышление... О, Васенька, понимаю возможность лютой к тебе враждебности, если бы ты был счастлив. <...> Нет! есть бесконечно мучительное и вместе с тем бесконечно отрадное блаженство узнать, что нас не любят. <...> Но тем не менее ценят, нам сострадают, признают нас достойными любви и, может быть, в иные минуты, живо созерцая глубину и святость нашего чувства, горько страдают от мысли, что не в их воле его разделять».

Михаил находился в Петербурге, безуспешно пытаясь организовать бракоразводный процесс сестры Варвары, когда узнал, что Александрина отвечает Василию Боткину взаимностью и дело идет к помолвке.

«Александра Александровна, я люблю Вас! — писал Боткин. — Чем, как я могу высказать Вам это кроткое, тихое, глубокое счастье, которое Вы мне дали. Я становлюсь благороднее, лучше от каждого Вашего письма. Вы ведь не знаете, что такое для меня Вы? Но я думаю, Вам скучно, что я все говорю о своих чувствах. Чувствах?! Изношенное слово! Нет, высказывая Вам, что происходит в душе, я говорю Вам о себе, потому что я только тогда живу, когда Вы бываете со мной. Поверите ли, в Вас я потерял свою самостоятельность, с Вами я не имею воли... Отчего Вы такие родные моей душе? Поверьте, я понимаю всю тяжесть, но вместе с тем и всю сладость такого положения. Правда, в этом чувстве есть много эгоизма... Прощайте, писать не могу, потому что сердце полно...»

Из другого письма: «Вы мне всегда представлялись девушкой Оссияна, образом, слившимся из эфира и лучей месяца. <...> Как мне передать Вам, как мне высказать все, чем теперь полон я. Что Вы мне дали! Теперь, когда я один — боже мой, сколько у меня речей с Вами, сколько вопросов. <...> А Вы теперь со мною. Вот здесь — я могу указать место в моей груди, где Вы. Вот здесь, где мне больно. <...> Вы засмеетесь, если я скажу, что я часто читаю и перечитываю Ваши записки и задумываюсь долго, долго. Мне кажется, что я все нахожу в них новое. <...> Все мое богатство состоит в том, что я знаю Вас, — для меня это великое богатство, источник жизни...»

Оставалось последнее препятствие, оно-то и оказалось непреодолимым. Родители Александрины не дали согласия на брак своей дочери с сыном купца и недворянином. Сословные предрассудки оказались выше чистой взаимной любви. Василий и Александрина вынуждены были расстаться. Боткин отправился в длительное путешествие по Европе. А девушка его мечты спустя некоторое время вышла замуж за отставного офицера и троюродного брата матери Гавриила Петровича Вульфа — одного из соседей Пушкина по его псковскому имению, с коими он близко сошелся во время ссылки в Михайловское, то он даже презирает меня и Боткина. Я первый подпал его гневу, он упрекает меня во услышание всем в ужасных преступлениях, в макиавеллизме, в подлости и т. д. Между нами долго продолжалась полемическая переписка, вследствие которой я долго и внимательно рассматривал себя и с радостью увидел, что во мне никогда не было злого намерения в отношении к Виссариону, что напротив я всегда и от всей души желал ему добра и готов был для него сделать все, что от меня зависело. Если ограниченность средств моих не позволила мне что-нибудь для него сделать, то это — не моя тайна. Кроме этого, я мог быть против него бессознательно виноват, и хотя я решительно не знал и до сих пор не знаю, в чем состоит вина моя, я от всей души просил его простить мне ее. Вот все, что я мог сделать.

В последнем письме своем он объяснил мне, что он потерял даже способность презирать меня и, несмотря на это, предлагал дружбу свою на условиях *sine qua non*[6]; это предложение было так смешно и так нелепо, и кроме этого, условия, предлагаемые им, были так невозможны, что я не мог не заметить во всем письме его желания в последний раз оскорбить меня, и должен был расстаться с ним. Вся эта ссора, все эти мелкие и

недостойные ни его, ни меня сплетни и наконец совершенный разрыв с ним легли мне на душу тяжелым камнем. Теперь он разорвал отношения свои и с Боткиным, называя его так же, как и меня, подлецом.

Грустно расставаться с человеком, которого любил, которому привык верить все, что тяготило и радовало душу, любовь и доверенность которого сделались уже необходимостью, ежедневной привычкой. Но еще грустнее расставаться с ним таким грязным образом. А Виссарион забросал и до сих пор еще забрасывает нас грязью везде и где только может. Я слышал, что он недавно ездил к Бееровым [так в оригинале] для того, чтобы объявить им нашу подлость. Слышал также, что он и тебе писал, милый Николай, может быть, он взвел на нас Бог знает какие нелепицы. Это не удивило бы меня, потому что он, Бог знает, что говорит про нас, и я мог бы, рассказав тебе все дело, совершенно оправдаться; но я не сделаю этого, во-первых, для того, чтобы не возмутить мира души твоей мелкими и грязными сплетнями, и, во-вторых, потому, что я уверен, что без всяких доказательств ты поверишь, что ни я, ни Боткин — не подлецы.

Я давно не видал Виссариона, но судя по тому, что об нем рассказывают, судя по проявлениям его ненависти (действительной ли или мнимой, не знаю) к нам, он должен быть в ужасно тяжелом состоянии духа. Он, кажется, совершенно отдался движениям и побуждениям своей грубой естественности, в которой он видит ту святую действительность, о которой говорит Гегель. Он дошел до того, что всякий пошлый, действительный человек стал для него идеалом, и в одном письме ко мне пресерьезно завидовал и советовал мне завидовать действительности какого-то Мосолова, который любит лошадей и который выучился английскому языку, потому что на нем написано много сочинений о лошадиных свойствах и достоинствах; он ругает (или по крайней мере ругал, — теперь не знаю как) Шиллера дураком за то будто бы, что он принес ему большой вред своим идеальным направлением. Главным источником всех наших недоразумений было то, что сначала я, а потом и Боткин стали уверять его, что без знания и без познаний нельзя быть дельным редактором дельного журнала; что выводить из себя историю, искусство, религию и т. д. смешно и нелепо и что, ограничиваясь своими непосредственными ощущениями, не стараясь возвысить их до достоверности понятой мысли, он может сказать несколько верных замечаний, но не более, и что журнал, не заключающий в себе ничего, кроме нескольких верных замечаний, не может иметь большого достоинства. Он очень рассердился на нас, говоря, что мы, “пигмеи”, осмелились поднять руку на его субстанцию, которую даже ты глубоко уважал. Виссарион в тяжелом состоянии: с одной стороны, он на деле беспрестанно должен чувствовать справедливость наших слов; с другой стороны, в нем нет сил приняться за какое бы то ни было серьезное занятие. Как-то раз он принялся за изучение немецкого языка и через несколько дней кинул его, говоря, что должно все делать по внушению благодати и что учиться немецкому языку “без внушения благодати, а по конечному произволу есть буйство перед господом, разрушающие конечный рассудок, а не благодать созидаящая”. Дух его по природе обширен, а потому и потребности его обширны, и до сих пор ни одна из этих потребностей не нашла удовлетворения. У нас был еще давнишний спор о любви женщины; он говорил мне, что любовь женщины есть необходимое условие его счастья, единственная, абсолютная цель его стремлений и что вне достижения этой цели жизнь не имеет для него никакого смысла. Я всегда говорил ему, что любовь, о которой он говорит, заслуживает и может найти только тот, кто имеет всеобщий интерес,

который составлял бы сущность его жизни, что любовь есть награда за объективную деятельность мужчины, и что только наполнение каким бы то ни было объективным содержанием и объективная деятельность делают человека действительным человеком и достойным любви женщины, и что любовь человека, живущего вне всеобщих интересов, необходимо должна быть или порывом грубой чувственности, или призрачным и болезненным чувством призрачного человека. Я пророчил ему, что, оторвавшись от всякого объективного интереса и сделав любовь женщины условием *sine qua non* [непременным] своего счастья и своей жизни, он никогда не найдет того, чего он ищет, и, измученный, утомленный тяжелою борьбою неудовлетворенной страсти, станет искать удовлетворения в первом попавшемся ему призраке. К несчастью, мое пророчество сбылось: в предпрошедшую зиму я видел, как он гонялся за какою-то гризеткою и как неудача приводила его в самое страшное отчаяние. Недавно и в моем отсутствии случилось с ним еще худшее осуществление моего пророчества.

Его денежные обстоятельства все в том же несчастном положении, и ко всему этому в нем, видимо, иссякает вера в жизнь и в будущность. Он знает, что ему тридцать лет, и это мучает его. Одним словом, положение его ужасно. Он весь предался своему страстному элементу, и дай Бог, чтоб это было только переходное состояние, а то он совсем погибнет. Грустно за него. В нем так много благородного, так много святых элементов, его душа — широкая душа. Знаешь ли, Николай, страшно смотреть на него. Да, я живо чувствую, что, несмотря на все его несправедливости ко мне, несмотря на грязное проявление этих несправедливостей, я не перестал любить его, не перестал принимать в нем самое живое участие; я знаю, что теперь мне невозможно сойтись с ним, но я дорого дал бы, если бы мог восстановить с ним старые отношения».

Версия самого Белинского, естественно, отличается от точки зрения Бакунина. По существу, Виссариону, имевшему весьма неуживчивый и неуравновешенный характер (друзья сравнивали его с кипятком), особенно нечего было и возразить. В письме к Станкевичу он пытался объективно оценить ситуацию: «С Мишелем я расстался. Чудный человек, глубокая, самобытная, львиная природа — этого у него нельзя отнять. Но его претензии, мальчишество, офицерство, бессовестность и недобросовестность — все это делает невозможным дружбу с ним. Он любит идеи, а не людей, хочет властвовать своим авторитетом, а не любить».

В письме к самому Михаилу эмоции вообще перехлестнули через край: «Я уважаю тебя: говорю тебе искренне. Но я не люблю тебя, ибо мне ненавистен образ твоих мыслей и еще ненавистнее его осуществление...» В разговоре же с Анненковым Виссарион высказался о Бакунине следующим образом: «Это пророк и громовержец, но с румянцем на щеках и без пыла в организме». Странная характеристика. Уж чего-чего, а «пыла в организме» у Бакунина было более чем достаточно. По природе своей он был сгустком энергии, пассионарной и харизматической личностью. Отсюда, в общем-то, проистекает и пресловутый бакунинский авторитаризм, в коем его справедливо (а подчас несправедливо) постоянно упрекали многие. Но разве не он впоследствии выступил против всякого авторитаризма вообще?

В пространных письмах к Бакунину Белинский пытается проанализировать их отношения с философских позиций, постепенно остывая от обиды и негодования: «Да, Мишель, я теперь совершенно освободился от твоего влияния — и снова люблю тебя, только люблю глубже, горячее прежнего. Любовь есть понимание, — это я недавно постиг. Простая истина, а я не знал ее! Наша ссора была благотворна. Причина ее заключалась в нашем взаимном требовании истинной дружбы и неспособности удовлетвориться призрачною. Взаимные наши призрачности производили ревущие, болезненные диссонансы в прекрасной гармонии, которую мы образовали взаимным влечением друг к другу, взаимною потребностью друг в друге. Надо было, чтобы все ложное, так долго скоплавшееся, прорвалось, как чирей. Я и теперь предвижу возможность таких переломов и потрясений в нашей дружбе, но уже в других формах. Нет, никогда не позволю я теперь сказать правды моему другу, если мне приятно или весело будет ее сказать. Кроме любви, все призрак и ложь, а любовь страдает за недостойность своего предмета и, плача, с кротостью произносит свои приговоры. Кто не уважает чужой личности, чужого самолюбия, тот может только осуждать, а не исправлять.

<...>

Да, я теперь люблю тебя таким, каков ты есть, люблю тебя с твоими недостатками, с твоею ограниченностью, люблю тебя с твоими длинными руками, которыми ты так грациозно загребашь в минуты восторга и из которых одною (не помню — правую или левую) ты так картинно, так образно, сложивши два длинейших перста, показываешь и доказываешь мне, что во мне спекулятивности нет “вот на столько”; люблю тебя с твоею кудрявою головою, этим кладезем мудрости, и дымящимся чубуком у рта. Мишель, люби и ты меня таким, как я есть. Желай мне бесконечного совершенствования, помогай мне идти к моей высокой цели, но не наказывай меня гордым презрением за отступления от нее, уважай мою индивидуальность, мою субъективность, будь снисходителен к самой моей непросветленности. Люби меня в моей сфере, на моем поприще, в моем призвании, каковы бы они ни были. Друг Мишель, мы оба не знали, что такое уважение к чужой личности, что такое деликатность в высшем, святом значении этого слова. Я теперь понимаю, как грубы, грязны, неделикатны были мои письма, как должны были они оскорбить тебя. Прости меня за них — я умоляю тебя именем той святой любви, которая теперь так сладостно потрясает и волнует всё существо мое. В благодатном царстве любви нет памяти оскорбления — в ней она заменяется сладостью прощения. Я простил тебя за все, потому что понял необходимость всего, что было. Мое сердце горит любовью к тебе, и с каким бы упоением обнял я тебя в эту минуту, как страстно поцеловал бы я тебя! Ты нужен мне в эту минуту, я хотел бы опереться на твою мощь, попросить тебя, чтобы ты объяснил мне самого меня, поддержал бы меня. Я болен, я страдаю — и чувствую в тебе всю нужду и понимаю всю бесконечность твоего значения в отношении ко мне. После Станкевича, я тебе больше всех обязан. По моей природе я противоположен тебе, но потому-то ты и необходим для меня».

Долгое время «ходить букой» Белинский конечно же не мог. Очень скоро он созрел для примирения: «Да, Мишель, я чувствую, что я глубоко оскорбил тебя. Я не щадил твоих ран, я выбирал из них самые глубокие; я высказывал то, о чем достаточно было намекнуть, и с подробностью высчитывал то, о чем самый намек горек. Но я не раскаиваюсь в прошедшем: оно было выражением момента моего духа. Мне надо было перейти через этот момент, чтобы достичь до того, в котором нахожусь теперь. Мы оба были в ложном состоянии и потому не понимали друг друга; хотели решить вопрос, и только больше запутывали его.

<...>

Беру Бога в свидетели моей искренности. Да, забудем прошедшее, и пусть оно останется для нас не больше, как уроком для настоящего и будущего. Наши с тобою отношения не должны так детски разорваться — они должны продолжиться с той минуты, в которую мы с тобою обнялись и поцеловались в доме Беер в твой последний приезд. Мы не друзья и даже не близкие приятели, но нам не за что ненавидеть друг друга и дичиться и смешно говорить Вы. В нашем прошедшем много хорошего, — и теперь я не люблю твой образ мыслей (во многих отношениях), но не тебя. <...> Верь моей искренности и верь тому, что мне уже надоело прекраснородушное кружение в пустых кругах ложных отношений, ложной дружбы, ложной любви и ложной ненависти. Благословим прошедшее, оставим друг друга в покое и будем встречаться без ненависти и холодности. Теперь я чувствую себя совершенно готовым для этого... <...>».

Страстный и импульсивный по натуре, в своих чувствах и привязанностях Виссарион быстро переходил из одной крайности в другую. Так было и в отношениях с Михаилом. «Ты достолюбезен для меня во многих из твоих недостатков. И то, что в тебе так недавно приводило меня в бешенство, теперь восхищает меня своею достолюбезностью. <...> Многое я понимаю теперь глубоко и понимаю через тебя. Теперь это мне ясно. Мое ожесточение против тебя произошло частично от личности, а частично от того, что я не хотел видеть в них достоинства. <...> Мишель, ты правду сказал, что мы все славные ребята».

Заодно он пытался стереть и неприятный осадок, оставшийся после непреднамеренного столкновения со старшим Бакуниным — Александром Михайловичем. В личном послании к главе семьи Бакуниных читаем: «За мною Вам старый долг, который тяготил меня: два раза был я у Вас в доме и только теперь собрался высказать Вам, как много я обязан Вашему знакомству и как благодарен я Вам за него. <...> Давно уже знаю, что я худо зарекомендовал себя Вам в мой первый приезд в Прямухино и что не совсем приятное воспоминание о себе оставил я Вам, и только недавно узнал, что многое, очень многое оправдывало Ваше обо мне понятие и Ваше ко мне чувство. В мою последнюю поездку в Прямухино Вы предстали мне во всем своем свете, и я проник в Ваш дух всею силою понимания, которая есть тоже сила любви. <...> Я понял эту ясную самодовольную улыбку, с которой Вы, сидя в уголку, прислушиваетесь к говору других; эту снисходительность, с которой Вы всякого выслушиваете; это удовольствие, с которым беседуете с молодым поколением, подаете Ваше мнение, никому не навязывая его и не делая из него закона; это ободряющее и лестное любопытство и внимание, с которым Вы выслушиваете мнение всех и каждого. <...> С нетерпением ожидаю обещанных Вами записок о Кавказе и Ваших стихов об Осуге». Как уже говорилось выше, планам Белинского не суждено было осуществиться из-за закрытия журнала «Московский наблюдатель», и поэма об Осуге была извлечена из архива и обнародована лишь спустя полтора века.

Однако дружба между Виссарионом и Михаилом уже не могла возродиться. В своем последнем (по существу, прощальном) письме к Бакунину, написанном 26 февраля 1840 года, Белинский как бы подводит итог их многолетней дружбы-вражды: «<...> Вообще, теперешнее время чрезвычайно трудно для убеждения — всякий хочет жить своим умом и

требует любви, сочувствия и сострадания, а не советов. Сколько переписал к тебе я писем: за истину моей последней и самой отчаянной полемической переписки с тобою я и теперь стою, как за то, что $2 \times 2 = 4$, а не 5, и эти письма были писаны моею кровью — свежую и горячую кровью, — а между тем ты сам знаешь, до какой степени убедили они тебя. Мне и теперь жаль потерянного времени, потерянной желчи, потерянной крови и потерянной души: из всех них только желчь еще не совсем была потеряна, потому что ты осердился — бедный результат! <...>

Прощай, М[ишель]. Еще раз, не сердись. Желая тебе уехать в Берлин, желаю от всего сердца, чтобы ты сумел овладеть собою и прожить на 2000 р. в год, чтобы ты вполне достиг своей цели. Но только тогда и поверю действительности твоего стремления. Что делать? С тех пор, как я увидел свою нищету, ничтожество, дряблость, бессилие, я уж не верю словам, а верю только делам, фактам. Только слово, осуществляющееся в жизни, для меня живое и истинное слово. Сбудется то, к чему ты стремишься, будущее сделается настоящим, может быть, тогда твой пример будет для меня полезен, а пока... В ожидании жму твою руку. Белинский». Им еще предстояла одна, последняя встреча — когда перед отъездом за границу Михаил пойдет к Виссариону попрощаться.

* * *

Чтобы перевернуть прямухинскую страницу на дате «1840-е годы», необходимо рассказать о Татьяне Бакуниной, оставившей заметный след в истории отечественной литературы. Случилось это уже после отъезда Михаила за границу, но было тесно связано с его судьбой и дружбой с тогда еще совсем молодым, а позже — великим русским писателем Иваном Сергеевичем Тургеневым (1818–1883). Представляется, что о зарождении и угасании любви будущего автора «Записок охотника» к Татьяне уместно рассказать именно в данной главе. Впечатления Тургенева от пребывания в Прямухине и дискуссии с корректным, но безнадежно консервативным Александром Михайловичем найдут отражение в культовом романе середины XIX века «Отцы и дети», а Михаил Бакунин послужит прототипом героя романа «Рудин». Но пока что о Татьяне...

Сестры Бакунины, пожалуй, как никто другой, соответствовали понятию «тургеновские девушки» (появившемуся, впрочем, гораздо позже). Не приходится сомневаться, что именно их вспоминал, представлял себе Тургенев, когда создавал, к примеру, образ Лизы Калитиной в «Дворянском гнезде» или Елены Стаховой в «Накануне». Что касается Татьяны Бакуниной, то она в самом деле вполне могла стать его женой, а для своего брата Михаила она была не только любимой сестрой, но и самым преданным другом в годы его тюремных заточений и ссылки. Она была самой романтической из всех четырех прямухинских граций и самой несчастливой в личной жизни (если не считать, конечно, умершей Любеньки). Ее ум, очарование и впечатлительность, доходящую до экзальтированности, отмечали многие из друзей Бакуниных, но, пожалуй, лучше всех описал ее Белинский, которому еще при первом его посещении Прямухина Татьяна предложила помощь и переписала набело его философскую работу: «Что за чудное, за прекрасное создание Татьяна Александровна. <...> Я смотрел на нее, говорил с ней — и сердился на себя, что говорил, надо было смотреть и молиться. Эти глаза темно-голубые, как море; этот взгляд внезапный, молниеносный,

долгий, как вечность, по выражению Гоголя; это лицо кроткое, святое, на котором еще как будто не изгладились следы жарких молений к небу, нет, обо всем этом не должно говорить, не должно сметь говорить...»

Бакунин познакомился и подружился с Тургеневым в Берлине в 1840 году, где они оба слушали лекции по философии, о чем более подробно будет рассказано в следующей главе. Молодые люди даже прожили почти год вместе в одной большой комнате. Поблизости снимала квартиру Варвара Бакунина с малолетним сыном. А вскоре к Михаилу приехал и младший брат Павел. В мае 1841 года Иван Тургенев, закончив курс обучения, вернулся вместе с Павлом в Россию. Пробыв совсем недолго в Петербурге, он по пути в родовое имение Спасское-Лутовиново сопровождал в Прямухино Павла, а родным привез письмо от Михаила:

«Тургенев оставляет нас (с сестрой. — В. Д.) и возвращается в Россию. Он едет отсюда в понедельник, 17-го числа, и через две с половиной недели будет у вас в Прямухине. Примите его как друга и брата, потому что в продолжение всего этого времени он был для нас и тем, и другим, я уверен, никогда не перестанет им быть. <...> Назвав его своим другом, я не употребляю всуе этого священного и так редко оправдываемого слова. Он делил с нами здесь и радость, и горе. <...> Он вам много, много будет рассказывать об нас и хорошего, и дурного, и печального, и смешного. К тому же он мастер рассказывать, — не так, как я, — и потому вам будет весело и тепло с ним. Я знаю, вы его полюбите».

Самого же Тургенева Михаил Бакунин снабдил подробной письменной инструкцией по поводу погашения собственных долгов. Предчувствуя, что расстанутся они надолго, закончил ее грустным добавлением:

«Прощай и ты, друг. С тобой мы еще дольше не увидимся; мы идем совершенно разными, противоположными путями. Не позабывай меня, — я тебя никогда не забуду, никогда, никогда не перестану действительно, конкретно любить тебя и верить тебе. Когда ты позабудешь, я подумаю, что ты умер. Хорошо, что мы еще раз виделись; мы узнали друг друга, и я уверен, что где бы нам ни пришлось встретиться, в каких бы обстоятельствах мы ни были бы, мы пожмем друг другу руку.

Неужели мы в самом деле не увидимся прежде пяти лет? Как мы тогда увидимся? Что расскажем друг другу? Может быть, много горького, может [быть], неудачи, несчастья? Но я уверен, что мы проживем жизнь нашу человечески, и это — главное; это — наша обязанность; остальное зависит от случая или от провидения, — не знаю, но только не от нас самих. Итак, дай мне еще раз руку. С Богом в дальнюю дорогу! Твой — М. Бакунин. Береги Павла, смотри за ним в России и, если будет нужно, спаси его».

В семействе Бакуниных Тургенева встретили с традиционным русским радушием. Высокий, мягкий и элегически настроенный статный красавец пришелся по душе и главе семейства, и всем домочадцам. С сестрами и младшими братьями Михаила (особенно с Алексеем) у него сразу же установились теплые отношения. Четырехдневное пребывание Тургенева в Прямухине каждому запомнилось по-своему, но лишило сна и покоя только Татьяну. В ее мечтах возникали самые романтические картины, какие только может нарисовать

воображение 25-летней девушки, дождавшейся, наконец, как ей казалось, своего избранника.

Тургенев тоже не остался равнодушным к милой синеглазой девушке. Однако не решался на объяснение, а в письмах отделялся общими, хотя и обнадеживающими, фразами, которые при желании можно было трактовать как угодно. А потому Татьяна после еще двух встреч — осенью в Прямухине, а зимой в Торжке — решила, наконец, прояснить двусмысленную ситуацию и сказать то, что обычно первыми говорят мужчины. «Расскажите, кому хотите, что я люблю Вас, что я унизилась до того, что сама принесла к ногам Вашим мою непрощеную, мою ненужную любовь, — писала она Тургеневу. — И пусть забросают меня камнями. <...> Вчера пришло Ваше письмо — я читала и перечитывала его — и целовала его с таким глубоким чувством — и благодарю и благословляю Вас — за все — за жизнь, которую Вы воскресили во мне, — и больше еще — за Вашу снисходительность. <...> Как я была глубоко печальна и спокойна, и счастлива в то же время. <...> Все минуты, дни и часы наполнены Вами, вся душа моя — Вами. О, Вы знаете, Вы чувствуете, сколь люблю Вас...»

Пушкинская Татьяна в своем письме-объяснении к Онегину была не менее порывиста, но более сдержанна. Впрочем, Татьяна Бакунина тоже вскоре поняла, после еще одного свидания в Москве зимой 1842 года, что чересчур завысила свои ожидания. Тон ее писем к Тургеневу постепенно менялся: «Тургенев, дайте мне Вашу руку, оставьте мне ее на одну эту минуту — после Вы опять свободны, я не удержу Вас, но теперь остановитесь, стойте так передо мной, пускай Ваша рука лежит в моих руках...» И далее: «Я хочу, чтоб память обо мне, о любви моей жила в Вас хоть несколько минут еще после того, как пройдет она. <...> Все пройдет, и любовь пройдет. <...> Ваши письма, Тургенев, не оставят меня — куда будет жизнь во мне. Вам самим я не отдала бы их, если бы Вы даже стали требовать, — мое страдание, моя любовь дали мне право, которого никто на свете не отнимет у меня. Ваши два последних письма — с тех пор, как я получила их, — лежат на груди у меня — и мне одна радость чувствовать их, прижимать их крепко, долго. <...>

Отчего я всегда задумываюсь, прежде чем начинаю говорить с Вами, Тургенев? Отчего это невольное раздумье так всю охватывает меня в минуты, когда я хотела бы быть близка к Вам? Вся любовь моя, все стремления к Вам уничтожаются в нем. Я свободна с Вами? Я могу быть совсем покойна в Вашем присутствии, но не свободна. Отчего это? Сознание ли это унижения моего? Но оно давно уже перестало тяготить меня. Вся прежняя гордость моя возвратилась ко мне с той минуты, как я поняла мое положение и почувствовала в себе силу стать выше его. Свобода духа моего не утратилась в любви моей. Напротив, она сделала меня свободнее и сильнее, чем я была прежде. И Вам я могу прямо сказать в глаза, не чувствуя ни унижения, ни страха. Но я не могу быть свободной с Вами. <...>

Вы можете быть совсем просты, совсем свободны со мной. Верьте, я никогда не свяжу Вас ничем. И Вам не нужно было говорить: “Я не продам своей воли”. За Вашу свободу, Тургенев, люблю я Вас. Но всегда ли понимаете Вы, что значит истинная свобода? Ясны ли Вы сами с собою. <...>

Будьте со мною, как с сестрою, как с другом. Пускай Ваша жизнь будет раскрыта передо мною. Не с любопытством буду я смотреть на нее и не с требованием приходить к Вам, но для того, чтобы быть всегда готовой, если нужно будет Вам утешение или помощь дружбы и беспредельной чистой преданности. Хотите Вы такой дружбы, Тургенев? <...> Отвечайте, и дайте мне руку, как в тот вечер. Нет, я не свяжу Вас. Со мною Вы всегда будете свободны. Я пойму, когда не буду больше нужна Вам, прежде чем Вы сами сознаетесь себе в этом. И Вы не услышите ни одной жалобы. <...>

То, что было между нами, уверяю Вас, никогда больше не повторится. И Вы можете без боязни ввериться мне, ввериться дружбе моей — она будет тиха и без требований. Было одно мгновение в моей жизни, когда я потеряла власть над собой, когда я отдалась увлечению... Оно прошло, и я снова та, какой я была раньше и какой я никогда не должна была переставать быть — тверда, спокойна и решительна... Я сдержу, что обещаю, друг мой... Верите ли Вы мне?»

Тургенев, судя по всему, любил и даже боготворил Татьяну, но... только в поэтическом воображении. Обычная коллизия: любовь земная и любовь небесная — первую олицетворяла Татьяна Бакунина, вторую — Иван Тургенев. И все же эта любовь дала плоды — самые проникновенные лирические стихи Тургенева навеяны встречами и прощаниями с Татьяной Бакуниной:

Дай мне руку — и пойдём мы в поле,
Друг души задумчивой моей...
Наша жизнь сегодня в нашей воле —
Дорожишь ты жизнью своей?
Светлый пар клубится над рекою.
И заря торжественно зажглась.
Ах, сойтись хотел бы я с тобою,
Как сошлись с тобой мы в первый раз.
Знаю я, великие мгновенья
Вечные с тобой мы проживем.
Этот день, быть может, день спасенья,
Может быть, друг друга мы поймем.

И еще одно:

Когда с тобой расстался я —
Я не хочу таить,
Что я тогда любил тебя,
Как только мог любить.
Но нашей встрече я не рад.
Упорно я молчу —
И твой глубокий грустный взгляд
Понять я не хочу.
Поверь: с тех пор я много жил
И много перенес...

И много радостей забыл,
И много глупых слез...

Этот поэтический цикл включает в себя и настоящий шедевр, ставший популярным романсом:

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые...
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.

Вспомнишь обильные, страстные речи,
Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
Первые встречи, последние встречи,
Тихого голоса звуки любимые.

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное, далекое,
Слушая ропот колес непрерывный,
Глядя задумчиво в небо широкое.

Каждый воспринимает по-своему эти строки, проецируя их на собственную жизнь, события или смутные воспоминания. Но мало кто задумывается, что за ними скрывается боль души вполне конкретных людей — Ивана Тургенева и Татьяны Бакуниной. Они встречались и позже, когда прошлое на самом деле превратилось для них в былое. Татьяна Бакунина так никогда и не вышла замуж. А Тургенев до конца дней прожил в гражданском браке с французской певицей Полиной Виардо, с которой он познакомился во время ее гастролей в Петербурге. Сначала Наталья, затем Александрина — обе проявили беспрецедентную настойчивость. Он же не переставал отшучиваться: его сердце уже занято, оно навсегда отдано прекрасной даме (самой прекрасной из всех!) по имени Философия. А чтобы не возникало никаких кривотолков, подкреплял шутку изречением Фихте, которого считал «истинным героем нового времени»: «Целью нашей жизни является не наслаждение счастьем, а достоинство счастья».

Но философские абстракции вдохновляли впечатлительных сестер лишь до поры до времени. Первой перешла к активным действиям Наталья. Через год после разрыва с Николаем Станкевичем она обратила свой взор на Мишеля. В один из долгих зимних вечеров 1836 года, когда мать с сестрой в их московском доме отсутствовали, Наталья с безоглядной откровенностью влюбленной девушки призналась, что платоническая любовь и «братско-сестринские отношения» ее более не удовлетворяют и она готова к интимной близости. В противном случае жизнь ее будет разбита. Михаилу стоило огромного труда успокоить девушку, ждавшую немедленных ответных шагов.

Однако связь с Александриной Беер спустя четыре года была доведена до логического и естественного в подобной ситуации конца, о чем свидетельствует ее многостраничное письмо, написанное вдогонку Михаилу, который перед отъездом за границу навестил

Бееров в их орловском имении Шашкино:

«<...> Я не рассуждаю в эту минуту, и Вы, прекрасный друг, без рассуждений примите всю любовь мою. Вот уже прошло несколько часов после отъезда Вашего... Вы теперь пришли бы в комнату мою, сели бы на этот маленький диван... Вас нет со мною, но я еще так счастлива. Все во мне дышит жизнью Вашей... И эти звучные, мерные шаги так торжественно отзываются в душе! Шашкино освятилось присутствием Вашим. <...> Мне не стыдно более, что я так глубоко пала при Вас: напротив, я рада, что Вы узнали всю крайность моего ничтожества. <...> Первую ночь сладко после этих томительных ночей я заснула. Я в каком-то упоении легла на диван мой, я забылась ненадолго и опять пробудилась, чтобы жить с Вами. Во мне теперь все бьется жизнью, но Вас нет более...»

В ту пору Бакунин работал над статьей, которая называлась «О философии». Ее первая часть была опубликована в апрельском номере журнала «Отечественные записки» за 1840 год. Вторая часть по неизвестным причинам напечатана не была и пролежала в архиве почти полтора века. Статья написана типичным для кантовско-фихтеанско-гегелевской метафизики языком, мало понятным широкому читателю, на которого были ориентированы «Отечественные записки». Определяя философию как познание истины, молодой гегельянец (он уже успел примерить одежду и фихтеанца, и кантианца, и шеллингианца) формулирует все те же вечные вопросы, которые ставились философией и перед философией не менее двух тысяч лет (по крайней мере, начиная с Аристотеля):

«Нигде так сильно не является разногласие, составляющая существенный характер нашей современной литературы, как в вопросе о философии: одни утверждают, что философия есть действительная, высшая наука, разливающая свет на все отрасли знания и требующая положительного изучения; другие же, напротив, уверяют, что она не более как сброд фантазий, пустая игра воображения, мешающая развитию других положительных наук. Одни говорят, что человек, занимающийся ею, — погибший человек, потому что она отрывает его от всякой действительности, убивает в нем всякое верование, поселяет в нем сомнения и из здорового, крепкого, для себя и для общества полезного человека превращает его в болезненное, фантастическое и решительно бесполезное существо; другие же, напротив, утверждают, что философия есть единственное средство к уничтожению всякого сомнения, всякой духовной болезни, единственное средство к примирению человека, уже подпавшего раз пагубному влиянию скептицизма, с действительностью, с небом и землею».

В этой программной, по существу, работе Бакунин поставил цель — раскрыть тайну превращения мысли в действительность. «Действительный мир... <...> — не что иное, как осуществленная, реализованная мысль. <...> Вера в пребывание мысли в действительности составляет сущность как обыкновенного сознания, так и эмпиризма...» От этого абстрактного тезиса всего лишь полшага до любимого лозунга современных радикалов «Всё мыслимое реализуемо!», но Бакунин такого вывода не делает, хотя он и читается между строк и, вне всякого сомнения, осознается.

С каждым днем Михаил все яснее понимал, что в николаевской России у него нет возможности реализовать себя как философу. Мечта почти всех молодых интеллигентов того времени (и не только их!), желающих расширить свой кругозор или продолжить образование, — выехать за границу. Художники стремились в Италию, писатели — во Францию, диссиденты — в Англию. Меккой имевших склонность к философии был Берлин. И Бакунин начал активно искать возможности для выезда в Германию. Камнем преткновения, как всегда, оказалось отсутствие денег. Требовалось не менее двух тысяч рублей в год. Прямухинское имение, к тому времени заложенное, сверхдоходов не приносило, семеро взрослых детей (не считая Михаила) требовали достойного обеспечения, и семья не могла выделить из своего бюджета суммы, необходимой для содержания «блудного сына» за границей. Александр Михайлович обещал Михаилу присылать в будущем не более полутора тысяч рублей в год.

Друзья-любомудры понимали отчаянное положение Бакунина, но лишними деньгами не располагали и могли разве что посочувствовать. Наконец у Герцена нашлась необходимая сумма, и он ссудил другу две тысячи на неопределенный срок. Будущий великий изгнанник, разделивший судьбу друга, был одним из тех, кто осознавал грандиозность и уникальность личности Бакунина и прекрасно понимал, что ее дальнейшее развитие и расцвет возможны лишь в условиях относительной свободы европейских стран. Перед отъездом из России Бакунин решил попрощаться с Белинским и зашел к нему на квартиру.

Там-то и произошло его столкновение с М. Н. Катковым, вызвавшее столько пересудов в ближайшем окружении обоих. Катков считал Бакунина (скажем прямо, без достаточных оснований) одним из главных источников сплетен о своих отношениях с женой Н. П. Огарева и искал повода для ссоры. Вот и представился благоприятный случай. По существу, Катков выследил и подкараулил Бакунина. Бурное объяснение закончилось рукоприкладством и вызовом на дуэль. Однако Михаил предложил отложить поединок на месяц-другой и провести его в Германии, куда также собирался Катков. Секунданты — Белинский и Панаев — поддержали предложение Михаила (любопытный штрих — Белинский в роли секунданта!), так как в России, в отличие от Германии, для участников дуэли, включая секундантов, были предусмотрены довольно жесткие санкции. К счастью, эта дуэль не состоялась...

Перед отъездом в Германию Мишель написал братьям и сестрам прощальное письмо: «Я — ваш, друзья, весь ваш и никому более не принадлежу, кроме вас и истины, которая составляет общую цель нашей жизни. Дайте же руки, сожмите их крепче, и ни пространство, ни время не разожмут их. Единство, царствующее в наших существованиях, есть верный, священный залог нашей взаимной любви. Каждый из нас может быть уверен, что ничто не может произойти в нем такого, что бы не нашло живого отголоска и участия в других. С этой достоверностью весело жить на свете. <...>».

С обеими сестрами Беер — Натальей и Александриной — он тоже попрощался письменно: «Итак, прощайте, друзья! Сегодня в час пополудни я сажусь на пароход. Прощайте надолго, на три, а может быть, и на четыре года. И я уехал, не простившись с вами! Что ж делать? Если бы вы знали, как тяжело мне думать об этом, как невыразимо сильно было мое желание в последний раз увидеться с вами и сжать ваши руки, тогда б вместо упреков и

аллегорий вы стали бы утешать меня. Но что ж делать, видно, было суждено, чтоб недоразумения и несправедливости были вашим последним прощальным словом. Но полно браниться, дайте руки, друзья, на долгое прощание. Вы обе и Константин (брат. — В. Д.) глубоко врезаны в сердце моем: вы — все мои, и я никогда не расстанусь с вами и знаю, что, несмотря на всех больших и маленьких чертенков, смущающих вас, вы верите моей любви к вам, верите, что я не могу оторваться от вас. И мне этого довольно. <...>».

Герцен оказался единственным, кто провожал Михаила из Петербурга в Кронштадт, где пассажиры пересаживались на пароход, следовавший в Германию. В самом начале плавания Бакунина навстречу своей всемирной славе случилось событие, расцененное как плохое предзнаменование. Не успел пароход выйти из устья Невы, как разразилась буря. Судно вернулось обратно к питерскому причалу. Это возвращение произвело на Бакунина (да и на Герцена тоже) крайне удручающее впечатление. Он с грустью смотрел на приближающийся петербургский берег, в воображении уже покинутый на долгие годы, усеянный солдатами, таможенными чиновниками и полицейскими офицерами. Александр Герцен вспоминает:

«Я указал Бакунину на мрачный облик Петербурга и процитировал ему те великолепные стихи Пушкина, в которых он, говоря о Петербурге, бросает слова словно камни, не связывая их меж собой: “Город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид, свод небес зелено-бледный... Скука, холод и гранит”. Бакунин не захотел сойти на берег, он предпочел дожидаться часа отъезда в каюте. Я расстался с ним, и до сих пор еще в моей памяти сохранилась его высокая и крупная фигура, закутанная в черный плащ и яростно поливаемая неумолимым дождем, помню, как он стоял на передней палубе парохода и в последний раз приветствовал меня, махая мне шляпой, когда я устремился на поперечную улицу...»

Кто мог тогда подумать, что Бакунину суждено вернуться в Россию в кандалах.

Версия #2

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 30 июня 2025 18:47:47

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 30 июня 2025 18:52:20